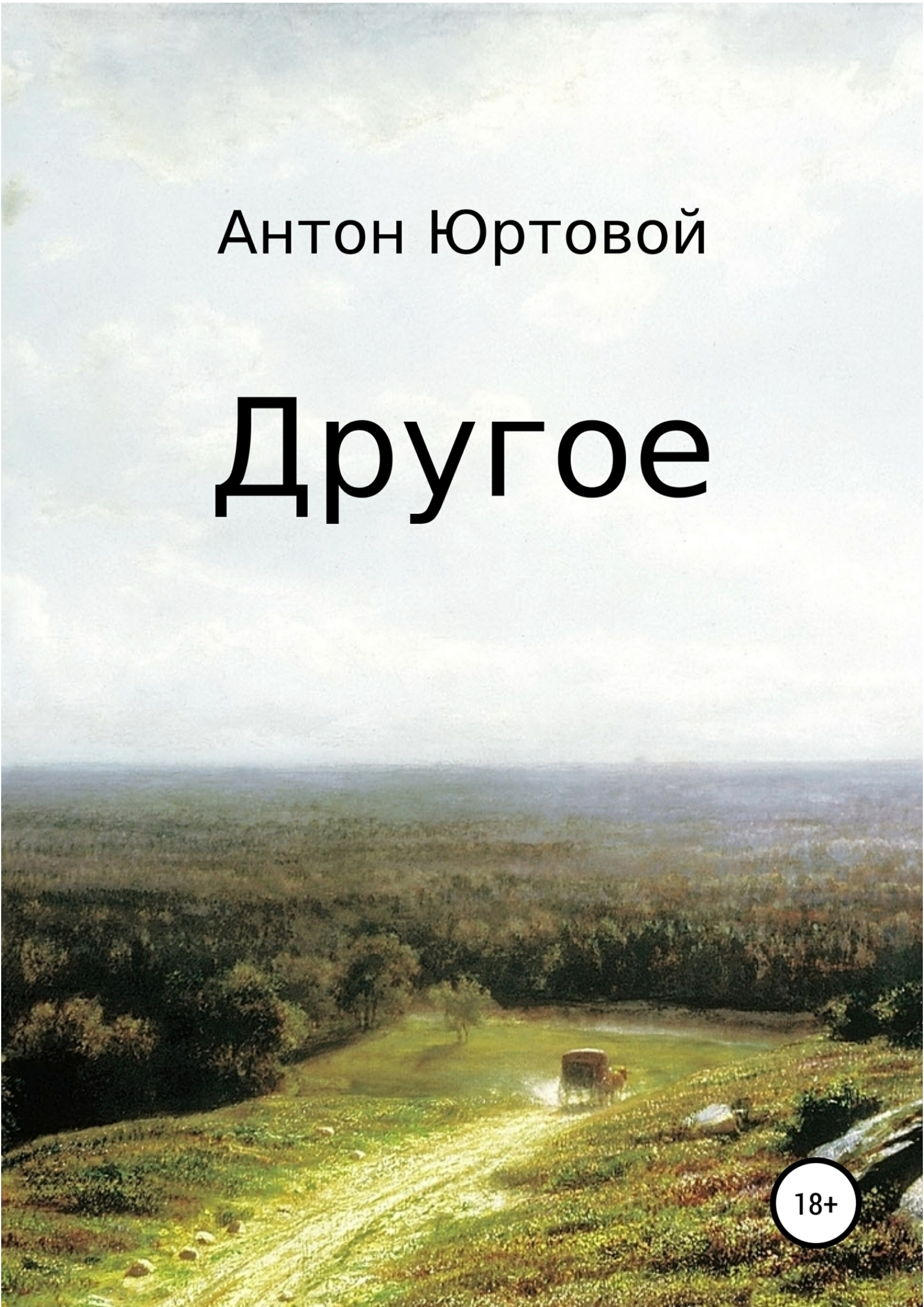
Антон Юртовой

Другое



Антон Юртовой

Другое. Сборник

«Автор»
2017

Юртовой А.

Другое. Сборник / А. Юртовой — «Автор», 2017

ISBN 978-5-532-09806-0

Антон Юртовой — независимый литератор и публицист. Живёт в Саранске. Возраст — 81 год. Склонен выражать себя в тематике культуры, эстетики и общественной духовности. Его прежние книги «Последний завет», «Миражи искусства» и «Гамлет и Маргарита» изданы в текущем, XXI веке. Новый изборник — своеобразный итог его литературного творчества. В книжном формате подавляющая часть представленных здесь текстов публикуется впервые.

ISBN 978-5-532-09806-0

© Юртовой А., 2017
© Автор, 2017

Содержание

Всё, в чём я сущ 5
У истоков супертьмы 6
Другое 19
Лунная симфония 21
Отважный окоём 23
«Заблудший, спитой, косой…» 25
«Неровное поле. Неясные зори…» 26
«Прекрасное – прекрасней во сто крат…» 27
«Воспоминаний неизменных нет…» 28
Май 29
Октябрь 30
«Тишиной не удержанный звук…» 31
«Мы стоим под луной…» 32
«Вечер спускается с крыш…» 33
Не от себя 34
«Слепая мысль не различит подвоха…» 35
«В тайном раздумье…» 36
Не сожалей, смирись 37
«Ни темнее, ни светлее…» 38
На вершине 39
Зачем я здесь?.. 42
«Оденься в камень…» 45
В нагорье, в ночи 46
«В душе своей отсею шелуху…» 47
«Поэт в России больше не поэт…» 48
Петля в песках 50
«Когда от жизни, битый и угрюмый…» 51
Двое 52
Неизбежное 53
«Серые туманы…» 54
«Всё, что ещё от меня осталось…» 55
Романная Проза 56
Глухим просёлком – в оба конца 56
Конец ознакомительного фрагмента. 77

Всё, в чём я сущ

Стихотворный срез

У истоков супертьмы

Поэма

Умолкни муза! Звонкой лиры струны
Бесчувственность всеобщая сгубила.
Мой голос, бывший ласковым и юным,
Теперь охрип, и в сердце боль вступила.
Кого мне петь среди долин подлунной,
Средь душ глухих и грубых,
мне постылых?
Отечество скорбит под властью скверны,
Стяжательством отравлено безмерным.

Луши Важ де Камоэнс, «Лузиады»,
песнь десятая, октава 145. Перевод
О.Овчаренко

•
Я знаю: мир нестоек и безбожен;
следы на нём крошатся там и тут.

•
Остынет ласковое солнечное ложе,
в агонии дохнув вокруг себя
кроваво-красным,
беспощадным жаром;
рассветы и закаты навсегда от нас уйдут
к мирам иным,
где – прорва звёзд
поярче,
где смыслы бытия лишь в притяжениях
да в порушении того, что накопилось.

•
В последний раз, прощаясь,
улетая прочь
неведомо куда
и видя под собой
испепелённую,
вскорёженную,
скорбную
пустыню,
тоскливо и невнятно
прокурлычат
клинья
журавлиные.

•
Усохнут навсегда цветы, деревья,
водоёмы, травы;
и в бешенстве забьются
особи жирафов,
рыб, собак, жуков
и прочих тварей.

•
С людским же родом,
оскверняющим
земную твердь
и всё на ней и по-над ней,
а также и – себя,
ещё на много раньше
то печальное
должно произойти,
что относимо
ко множеству,
растущему
без цели и мотива, —
конец ему приблизят и ускорят
добавления
к его угрюмой,
бесконечно несуразной
численности
и гордыне
и полоскания
в разливах искушений.

•
Бесцветными окажутся
улыбки
и задатки детворы.

•
И томных дев не увлекут желания зачатий;
на нет сойдут для них
забавы и утехи
с мужами,
истрепавшими
себя
в блуде и в сладострастии.

•
И откачают головами старцы,
смиряясь перед тем,
что в юных

истощилось
радостное
родовое
семя.

•

Пригашенное яростное,
зубчатое
огневое пламя
гримасами
забвения и фальши
заскользит тогда
по полотнищам
знаменным.

•

И орды обречённых на безумие
гомункулов,
восстав, —
из отвращения
к их утеснённой,
горемычной
доле, —
властителей над ними —
предков тлена и пороков —
решатся
истребить…

•

Нет поворота вспять —
к былому,
к изначальному;
и не проявится лишь то,
что —
не рождалось!

•

Причин и следствий череда
в объятьях
мироздания
толкает к одному —
к погибели.
Себя рассудком
у роковой черты нам не дано принять.

•

Мы всё ещё заботимся о славе,
о том, что время
в мёде растворится

и нас обдаст живительной росой.

•
Уж эти росы, —
в ярких свежих каплях оседающие
по ночам
или с приходом зорь
избытки
испарений, —
так густо окропившие
стихи
и прозу!

•
Ещё в зародыше
иронией и пошлым пересудом
прожигается
поделенный на всех
утробистый
расчёт —
остаться в памяти
сменяемых
беспечных поколений
и – как бы дольше продержаться
там.

•
Горьки, бессмысленны
благие
упования!

•
Куда и для чего
манит нас
предстоящий срок?

•
Как будто в нём бы удалось кому-то
поверхность вечно смутных,
изможднных,
ломких
будней
подправить благоденствием и благолепием,
чему вразрез
уже
нельзя
воочию
не видеть
взрыхленную

в неостановимом
долгом истребленьи
матрицу
долин, полей, урем, —
когда-то над собою нас легко носивший
край
из ликующих просторов
и бессчётных
горизонтов —
отрада глазу
и грааль воспоминаний, —
по-детски розовый,
благословенный рай…

•

Под кров его убогий, одичалый
нам
теперь
стремиться —
с обожанием?
гордиться им —
без почитанья,
тупо,
слепо?

•

Усердие к тому
всегда копилось
в деспотах
и в их холопах,
на пики насаждавших
непоколебимый,
взвешенный,
отважный выбор.

•

Им – следовать?

•

Я – не берусь!

•

Туда ли, на вместилище алчбы,
раздоров,
ненависти,
расточительства
и боли,
я,
пространствовав,

вернусь?

•

Что мне там было б
в утешение,
приятным,
увлекало б,
зазывало?

•

Не то ль, чтоб мог я в одиночку переплыть
знакомые студёные и тёплые
моря?
протоки, реки и озёра обнырять и омуты
исчесть?
понежиться под кронами берёз, дубов иль ив?
к забытой беспорочности и бескорыстию
в намерениях,
к чести, верности
и чистоте
в духовном и в телесном
подтолкнуть
кого-то?
величием нагорий, гроз, лавин
и давних укреплений
восхититься?
абсурду следуя, проголосить заздравье
кому-то,
потерявшемуся
в лунных,
серебристых
снах?
рапирою проткнуть злодея?
простонать вороной?
увлечься игрищами,
строчкой ковыряя раны?
или – заслышав сердца странный,
безотчётный,
гулкий
перестук,
в немых предчувствиях себя заледенить:
а —
вдруг?..

•

Да – нет; – не то.

•

Мне дорог путь иной,

устеленный смущеньем
перед тайной
моей нескладно скроенной
души,
забывшей о покое,
о всполохах корявой ностальгии,
о зависти к реченьям мудрецов,
бегущей прочь от рубрик похвалы и лести,
не принимающей костров и стуж
вселенской лжи.

•

И! —
что бы я без отторженья значил!

•

Всегда нам ненавистно то, что губит волю
и, искривляя существо заветов,
половинит разум.

•

Венец красавице невесте – словно щит
триумфа ждущему от завтрашнего боя,
неискушённому,
лукавому
спартанцу, —
нелепа и смешна ей мысль
казаться незнакомым юным шалопаям
кривой и злобною каргою —
в отдалённой,
передрягами и нищетой замятой
пресной,
одинокой
старости.

•

Случайный, даже робкий звук
смертелен
тишине
звенящей.
И нет простора там,
где поднялась
и раздаётся
чаща.

•

В тайфунах дум,
не знавших заточений,
у финиша лишь тот,

кто – начинал
с сомнений
и кто – презрев ухмылки
от себя уйти спешащих
кланов, —
до срока перезрелых,
вялых и унылых, —
всему наперекор пространства и века
преодолеть желая,
свои опять
с любовью
подчищает
сомкнутые
огненные
крылья!

•

Лишь то, что чистою отвагою и совестью
обмериться должно,
в себе я грею и беречь готов.

•

Хотя
сказать бы
следовало
к этому
меж строф:
в облатках символов любой обмер —
сомнителен
и тем уж —
плох.

•

В исходе горестном, лихом и опостыленном
вдвойне мучительны бывают
сожаления —
о подступающих
бесславье
и бессилии.

•

У бездны, притаившейся в ночи
или – под пологом тумана,
бесстрашию легко сойтись
с обманом.

•

Неосторожный и заносчивый ручей,
упавший с высоты,

от гнева взбешенный,
своих намерений,
как и – себя,
уже
не помнит,
встретившись —
с бушующею,
бьющейся о берег
океанскою
волною.

•

И я, надземье облетая-обплывая-обходя,
разлады с собственною сутью
познавая и —
мудрея,
чего бы стоить мог,
такому вертопраху уподобясь?

•

Пределы всюду есть;
и в копоти бедовой
всему вокруг и каждому предписано
не разминуться
с новью.

•

Свет там померкнуть или отклониться
обречён,
где непрозрачную преграду встретит он
иль перспектива для него —
туманиста
иль – дымна.

•

И неужели впрямь годятся упования —
на цветики, на бирюзу планет,
на купол неба, с радугой сроднённый,
на приближение
к затерянным и затаённым
бесконечным далям,
меж тем как необдуманно и глупо
поэты, изощряясь, мир дробят,
собрав по осени багряные листы
и, гроздьями рябины заслоняясь,
встречают зиму тусклою тоскою,
метели и морозы ненавидя,
расписывая их
из утеплённых ниш?

•
На том ли устоит предназначение?

•
Спеша надеть корону,
помышляй об отречении!

•
На неоглядном,
диком,
переморенном жарою,
обездвиженном,
иссушенном
просторе
уже через мгновение
надежде,
завихрённой миражами,
суждено
являться
истомлённому
и заблудившемуся
путнику —
холодной,
оскудевшею
и
тщетной.

•
В трухлявой сыпи звуков и словес
томятся
лживые,
бесстыжистые гимны —
и – нам, и —
нами над эпохами расставленным
воинственным царям,
услужливым сатрапам,
скоморохам,
палачам,
речистым аксакалам.

•
И надо ль сожалеть,
что цвет сирени,
как и мечты о счастье, потускнеет
и станут горше росы и рассветы,
и сумерки времён
просветятся
мрачнее и корявей

в предвестиях, что землю
кто-то
опрокинет —
в штопор
и негероев рать
по ней
взойдёт
на пьедесталы?

•

Потерь от зла и долгих мук
не возмещают
оглашением
даже сермяжной,
стопроцентной
правды.

•

Никчёмен вымысел, коль вдохновенье —
неисправно.

•

И мне достанется пускай – немногое, —
лишь из того,
что взять у всех смогу —
без поручительств
и уплаты пошлины:
своею успокоюсь
простою долей, что склонялась книзу,
во глубь пород, где нет ни тьмы, ни света,
откуда не узнать о переменах,
молву с хулой не отличить от гадких прений,
не передать
восторгов бытием и ярких умилений
бесстрастным,
чуждым
и бесчувственным
богам,
не сосчитать
оставшихся невозмещёнными
обид,
укоров,
оскорблений,
не разглядеть дорог
в тугих извивах
и трелей не расслышать
соловьиных.

•

Уму, дерзнувшему не доверять святыням
и – никогда ни в чём
не изменять
себе и мировым основам,
я подаю теперь ладонь —
как демон истины,
немытой и суровой.

•

В рассеянных закатах запоздалых
случится ли, что в радость иль к печали
хоть для кого-нибудь,
кто наважденьями
ещё не свален,
вдруг отзвучит и этот мой,
не тронутый оковами
и не лукавый стих?

•

Я избегал сует и славословий.
Что мне до них?
Лишь то порой тревожит,
что
меня,
быть может,
заметить некому,
что спесь людей изгложет
и то, над чем я размышлял и —
что и как
успел и смог
сказать
впервые,
рассеют
по своим строкам
бойцы поэм и повестей
иные.

•

Так водится: и лучшее и худшее
из нашего
без умыслов
крадут
и позже
за таких,
как мы,
легко
сойдут.

Конец

Другое

Серебристая дымка
юных снов и мечтаний
зазывала меня
в бесконечную высь.
В жизни выпало мне
воли будто б немало,
но хотела душа
над собою взнестись.

Исходил я дороги,
по которым согласно,
беззаботно и шумно
ровесники шли.
И вот понял сейчас,
что искал я напрасно
перекрёсток большой,
остановку в пути.

Было трудно порой,
неуютно, немило
в одиночку брести
без надёжных примет.
Сам себе я порою
становился постылым,
убежать бы хотел
от того, что имел.

Не влекла меня детства
приятная сладость
под манящие тени
золотого шатра:
слишком скоро была там
оставлена радость,
слишком много постиг
я утрат.

Знаю, прелесть тех дней
не иссякнет вовеки
в истомившейся думой,
неспокойной душе, —
как нельзя ручейку
дважды течь в ту же реку,
так и детство моё
не вернуть уже мне.

Помню кронистой липы

медвяное цветенье,
без конца васильки
на июньском лугу,
тёплый воздух вечерний,
разудалое пенье,
шумный говор и смех
в молодёжном кругу

и просторных полей
красоту неземную,
перелесков и рощ
отуманенный вид,
и улыбку девчонки
так приятно простую,
когда только тебя
она ей одарит.

Всё то было кругом,
но искал я другого.
Я не знал, что ищу
и найду ли когда.
То была ли мечта?
Созерцанье немое?
Безрассудный расчёт?
Иль – одна пустота?

Не печальный, но скучный,
как свечи отраженье,
искушаемый тайной,
я бродил по земле.
Сколько грусти обрёл
я в своих размышленьях!
Сколько ярких надежд
я упрятал в себе!

Я прошёл пустоту,
побратался с покоем,
и мечта уже редко
прилетает ко мне;
но, как прежде, хочу
отыскать то, другое,
что нигде не терял
и не видел нигде.

Лунная симфония

Бесконечные вспышки огней.
Я брожу одиноко, как в сказке,
мимо тёмных стволов
тополей.
Я плыву мимо их оголённых вершин,
улетаю за грань
голубых
облаков,
за прильнувшие к ним
силуэты
просвеченных
стылыми зорями
высей,
пустот
и глубин.
Я живу. Я люблю.
Я взволнован и счастлив без меры.
На ладони своей ещё чувствую я
твою руку
тугую.
Я вдыхаю ещё запах кос твоих
пепельно-серых.
Я люблю этот холод
осенних
безлюдных
ночей
и над миром уснувшим
задумчивость
лунную.
Тишина надо мною
созревшею грушей висит.
Тишина в моём сердце
набатом стозвонным
гудит.
Это мне улыбается гордое,
смелое время.
Это мне говорит свою тайну
звезда
из далёких окраин вселенной.
Чу! Я слышу, как гибнет покой!
Тихо льётся симфония
звуков и красок,
словно снег
молодой.
И огней бесконечная пляска.
И брожу я один, будто в сказке,

мимо тёмных стволов
тополей…

Отважный окоём

Тихий шорох стынет
над рекой
возле моста, где туман густой
исплывает
над своей
судьбой.

В росе ивняк и травы на откосах;
они истомлены
в немом оцепенении.
А солнце не торопится к восходу.

То здесь, то там поток задрёманный
как будто невзначай
подёрнется
журчанием,
и в унисон – ленивый рыбий всплеск.

А впереди, за берегом отлогим —
колки берёз, дубков и клёнов
накрыты мглой;
и в них уже шумливо:
ко времени там
пересчёт пернатых.

Подале прочих
иволги округлые распевы.
Умеренны они,
тревожны,
глухи,
мнимы;
и в них же —
золото
и радостная алость.

И зоря, взрозовев,
уж пламенит восток,
огнём поднявши небо,
забрызгивая ширь
и шквалом бликов
устрашая тени.

С присоньем,
не спеша
от моста в стороны
сама себя дорога стелет;

по ней прошелестнуло шиной.
И новый след благословился эхом.

Подправлен окоём
глубокою
и ясною
отвагой!
В смущеньи перед ним
и рок,
и хмурый вызов;
и сам он уж готов
свои изъяны
сгладить.

Легко душе; и прост её окрас;
не возроятся в ней
остывшие волнения.
Всё ровно. Всё с тобой.
И не отыщет уклонений
твой подусталый жребий.

«Заблудший, спитой, косой…»

Заблудший, спитой, косой,
опорожнённый дух
уйми, придави хотя бы ногой;
к чужому – останься глух.

Попробуй – застынь на шаге;
представь его – изваянием.
Боль, сама по себе, – от страха.
Страх же – плод прозябания.

Томит предчувствие штиля;
концовкой оно опасно:
в бурливых милях, подраненный,
ты плыл и тонул всечасно.

Материком, океаном, космосом
будучи в эру втащены,
движемся вроде как очень просто:
с глупостью каждый частною.

Лишь миг, и – швартовы сброшены,
не к берегу, —
к целой огромной и сокрушительной
суше.
Кому-то легко —
в исхоженном.
Большего ждать —
не лучше.

Нельзя суетой пренебречь,
уйдя, взлетевши, отплывши.
Время не в силах туда протечь,
откуда пространство вышло.

Ополосни желания
в истоках призрачной цели.
До полного до умирания
смерть неуместна в теле.

Тонешь или плывёшь, —
в том тебе – что за разница?
В жизни, как через дождь,
видно лишь то, что кажется.

«Неровное поле. Неясные зори…»

Неровное поле. Неясные зори.
Гибнут раздумья у тракта старинного.
Нет очертаний в рассерженном море.
Бедны горизонты, и нет середины.

Путь к очевидному в долгом зачатии;
вехи на нём истуманены, мнимые.
Тащится жизнь над судьбою раскатанной.
Нет горизонтов, и нет середины.

Что-то забудется. Что-то вспомянется.
Вспыхнет восторг иль уронится зримое.
Лишь неизбежное где-то проявится.
Есть горизонты. Нет середины.

«Прекрасное – прекрасней во сто крат…»

Прекрасное – прекрасней во сто крат,
когда его потерю осознаешь.
Унылость серых лет мозг сохранит едва ли —
взамен секундам счастья и услад.

И я любил, как чёрт, как одержимый,
и счастлив был, и для тебя – любимым,
и охладеть успел, твой холод ощутив,
и тяжести пустой дверь в душу отворил.

Не перечесть обид, тобою причинённых.
Я горд – не снизойду до униженья.
Но верность сохраню минутам просветлённым,
когда тебя любил и в том не знал сомненья.

Прекрасных тех минут не зачеркнуть;
я никогда ни в чём тебя не упрекну.

«Воспоминаний неизменных нет…»

Воспоминаний неизменных нет;
теснят одни других, – вот жизни проза.
Но – не уйти от них и от того вопроса,
что на душе лежит как застарелый след.

Тот росчерк стал теперь уж неприметен.
Лишь иногда как будто ярким светом
твоё лицо озарено бывает.
Печаль с него разлука не смывает.

В минуты эти, огорчений полный,
тянусь к надеждам, за мечты цепляюсь.
Но – миг проходит, и, хоть это подло,
я в слабости своей себе уж не сознаюсь.

И только мысль одна меня тревожит вновь,
что, может быть, я сам убил свою любовь.

Май

Весною
землю
относит в рай…

Благоухает
роскошный май!

Цветёт долина —
огнём горит!
И по ложбине
ручей звенит.

В наряд зелёный
одеты – бор,
холмы и склоны,
и цепи гор.

И солнце светит
теплей, теплей,
и смотрит в реку,
и блещет в ней.

И песня льётся
и вдаль зовёт,
и сердце бьётся,
чего-то ждёт…

Уж близко лето.
Как много света!
Какая синь!
Как мир красив!

Октябрь

На неровном,
уставшем,
остылом
ветру
на яру
всё дрожит
непрестанно
полотно
пожелтевших
берёз.
Рой надежд
обронив
и окутав себя
пеленой
отсырелою,
тускло-
туманной,
раззадумался
плёс…

«Тишиной не удержанный звук…»

Тишиной не удержанный
звук…
Ночь на исходе…

Стрелка вращеньем
вновь замыкает
исписанный временем
круг.

Мысли в бессменном походе.
Ждут воплощенья!

«Мы стоим под луной…»

Мы стоим под луной.
Твоя талия звонче бокала.
Льётся безмолвия песня.

«Вечер спускается с крыш…»

Вечер спускается
с крыш.
Розовый полог заката,
аукнув,
упал
    на горячие
            сонные долы.
Прячется в тенях,
            кого-то к себе подзывая,
робкая тишь.
Вздрогнул
        стареющий
                тополь,
лист обронив,
заране
    бодрящей прохлады пугаясь.
Сны золотые
        себе подложив в изголовье,
стынет луна —
думает
    вечную
            думу.

Не от себя

Мы с вами слишком долго не мужали
и до конца не знаем, как стары;
когда по-детски пели и смеялись, —
уж мы не вспоминаем той поры.

Мы слишком много потеряли сразу:
наш ум, ещё нестойкий, охладел.
И юности порыв без пользы пролетел,
уйдя из памяти и став пустою фразой.

И всё ж горит пока над нами луч надежды…

Но нам уж не сменить своей одежды:
она навек негодованье скрыла,
с которым мы теперь клянём земное зло.

Безвременья бесчувственная сила
с крутой скалы нас бросила на дно.

«Слепая мысль не различит подвоха…»

Слепая мысль не различит подвоха.
Не торопи того, что и само падёт.
Не ставь отметин на чужой дороге,
и то, что горячо, не складывай на лёд.

В себя гляди почаще, понастырней.
Живи один, и не кляни других.
Покуда едешь трактом пересыльным,
не вдохновляй себя и не насилуй стих.

У сердца подзайми расположенья
к бездомному, глухому, дураку.
Не клянчь табак; не требуй пояснений,
когда зарплату отдаёшь врагу.

Заметь: в земле ни дня, ни ночи нету:
получишь их, лишь сотворив разлом.
Корявисто предчувствие рассвета,
когда раздумий много об одном.

Не отвергай ни призраков, ни чёрта.
Согрей талант в космическом бреду,
и с явным удовольствием отторгни
себя, вползавшего в болотную узду.

Придёт напасть – не ври себе и миру.
На благодать не отвечай зараз.
И если у истории в пунктире
тебе не быть, —
не обессудь и нас.

«В тайном раздумье…»

В тайном раздумье
повисла
симфония
ночи.
Пахнет земля.
Тополь стоит
в напряженьи
упругом.
Тихо плывут облака.
В блеске холодном
застыли
далёкие
горы.
Синие звёзды
смеются
и чертят узоры
в неярких
усталых
мирах.
И ещё долго
навстречу рассвету
не выпорхнут
сонные звуки
из голубого
безмолвия.

Не сожалей, смирись

В унылостях растраченные годы
не потревожат чувств
сухим воспоминанием.
Где было глубоко, образовались броды.

Каскад надежд утих,
и чувственность иная,
пройдя через барьер
пространственных вериг,
теперь восцарствует,
былое изгоняя.

В хозяйственный экстаз
вонзив свои права,
она сопернице дала отказ в пороге.
Где отцвели цветы, лишь шелестит трава.

То счастье, что хоть редко
но бурлило и сверкало,
уведено под тень, —
река с другим значеньем:
в пологих берегах она бредёт устало.

«Ни темнее, ни светлее…»

Ни темнее, ни светлее
краски неба – там и тут.
Сердце тихо пламенеет,
вдохновенья грея суть.

Ясен ум; одна, прямая
мысль – что движется к строке.
Ты её полюбишь, зная:
в ней – судьбы твоей разбег.

Тонким волосом растянешь
миг, когда сквозь блёстки рифм
в очертаньях угадаешь
и запомнишь новый стих.

На вершине

Мне не странно и не дико
в этом мире многоликом.

Я – над гребнем, у стремнины,
где, как следствию с причиной,
возникающим заботам
в направлении к субботам
не дано тащиться врозь
под расчёт скупой и мнимый,
полагаясь на авось;
здесь – всему свой бег и срок,
перемен порядок – строг,
а желанья – исполнимы.

Тут я весь; тут мой порог;
тут моя, своя граница,
мой рубеж для возвышенья
в чутких снах и продвиженьях
к яви, скрытой в заблужденьях;
край под месяцем искрится;
в нём легко преобразиться
и раздумьям, и душе,
коль в разбросе те уже.

Мной исхожены дороги —
те, что длинны иль старинны,
коротки, узки, извивны,
те, которым вышли сроки,
также те, что завсегда
всех заводят не туда,
где ещё, бывает, живы,
бродят идолы картинно,
жить пытаясь под залог
тем, что я – никак не смог;

мне казалось: те пути
держат волю взаперти.

Продвигаясь на вершину,
сам себя я превозмог.
Мне судьба упёрта в спину;
предо мной простор – в облог;
знак на нём посередине
в виде шлема из былины,
что совсем забыта ныне,
как и то, что в ней —

урок.

Я не скрылся и не ранен,
не потерянный в тумане,
никому не задолжал,
не окончен, не пропал,
не свечусь и не грущу,
в чуждый дом не возвращусь,
вражью блажь —
ему ж прощу.

Мне дерзанье – как награда.
Миражами я обкатан;
на своей земле – чужой,
на чужой же – сам не свой.

Нет на мне худых отметин;
ярких красок тоже нет.
Как я жил, я не заметил.
Ту, что ждал, ещё не встретил.
Ту, что встретил, не отверг.

Мне в низинах дела нет.
Я не злобен, не удал.
Тем доволен, что искал,
чувствами иль только глазом
суть угадывая разом.

Далеко отсель до бога;
чёрт мне также не в подмогу.
Я помечен под звездой
незаметной, не тоскливой,
не чудной, не прихотливой;
луч её всегда со мной.

Ни с волхвом,
ни с волчьим братом
мне встречаться нет охоты;
в небо вшит – без позолоты,
в прошлом ангел не крылатый,
сбережённый от заклятий,
с трезвой, ясной головой,
я теперь свою удачу
по-пустому уж не трачу,
и в итоге это значит
как прекрасно жить иначе —
над мирскою суетой
да в ладу —
с самим собой.

Зачем я здесь?..

Исповедь кота, живущего в квартире

Приляг ещё поспать,
мой чёрный хвост.
Такой же я скруглён
как и раскос.

Легко устать от дел
бросаясь в край.
А взгляд в расщелину —
одна игра.

Не уничтожится
ничто своё.
Как перевёрнуто
житьё-бытьё!

Кто я? Что я теперь?
Зачем я здесь?
Я непременно нужен
кому-то весь.

Пустым хождением
пониз дверей
не выжечь умыслов
на тьму вещей.

В глазах надежда
всегда близка.
Кому-то – верится,
кому – тоска

Теплом не светится
ни стол, ни стул.
Кто не согрет собой,
тот не уснул.

Не в счёт отдельное,
что – в долгий ряд.
Зовут по имени,
чем всё круглят.

Заботы терпкие
болванят кровь.
Хоть нету призраков,
нет и основ.

Я был как многие —
служа уединению.
Всегда внутри него
огромное стремление.

Оно порою комом
цепляется в загривок.
И цели нет дороже —
стать
максимально зримым.

Своих искал везде я,
по всем углам.
Так было много их,
но только – там.

Воспоминания —
как сон и бред…
Под шкурой зыбятся
то вскрик, то след…

Я был помноженный
на них, кто – там.
Цвет моего хвоста
усвоил хам.

Он прокусил мне то,
чем ловят звук;
но злиться я не стал:
хам сел в испуг.

Откуда что взялось:
шла речь о ней.
Как на беду он был
неравнодушенней.

Ну, значит, прокусил;
а через раз
ему какой-то жлоб
размазал глаз.

Мы после виделись
всего тремя зрачками.
Существеннее то,
которое
мы
сами.

М-да… чьи-то мнения…
Пусть, как должно бывает,
хоть чёрная, хоть серая
меж нами пробегает.

Не леденит судьба
во всём привычном.
Знакомое – чуждо.
Чужое – безразлично.

«Оденься в камень…»

Оденься в камень.
Приляг на дно.
И жди обмана —
в бистро, в кино.

Хотенья мене,
чем больше круча.
Уснувший гений —
оно и лучше.

В нагорье, в ночи

Гётевский мотив

Отстранённою дрёмой объяты
вершины, распадки и склоны.
К небу спрямились пути;
и замирают свечения
по-над остылой уставшею мглой.
В мире как будто провисли
и не обронятся больше
тревоги, предчувствия и ожидания.
Сердце в смущенье:
покоя ему не узнать,
но оно его ждёт.

«В душе своей отсею шелуху…»

В душе своей отсею шелуху.
Забуду помыслов невнятные значения.
Чертополох иззубренных улыбок и угрюмую хулу
сотру из памяти,
остуженной в сомнениях.

И вихри праздности, и ласточкин восторг
не стоят ничего, исписанные ложью.
Приму лишь то, чего всегда достичь желал и мог,
отдав под нож боязнь и осторожность.

Так много пролетело дней потухших!
Неярок свет, завесой истомлённый.
Свой жребий, перемятый, но – не самый худший
я вновь прямлю,
надеждой осветлённый.

«Поэт в России больше не поэт…»

Поэт в России больше не поэт.

Свою строку, ещё в душе лелея,
он сбросит на сомнительный совет
в себя же, искушённого в затеях, —
как перед светом
выглядеть
прилично.

Не зацепив за чуждую мозоль,
не разделив беду чужую лично,
уже с рожденья он освоил роль
раба тоски,
раба непрекословий.
Не зная сам себя, себе не нужен,
не меряясь ни с кем,
держась тупых условий,
спеша не вверх и делаясь всё уже.

Чужие чувства выдав за свои,
горазд он сымитировать
страданье.
Молчит, когда у мозга бьётся крик
и боль торчит из подновлённой раны,
и до расстрела, не его, – лишь миг,
и по-над бездной жгут
свободный стих
и тот горит мучительно и странно…

Узнав о вечных проявленьях страсти,
им изумившись, пишет про любовь,
по-древнему деля её на части,
на то, где «кровь» и где «опять»
и «вновь».

А нет, так, убаюканный елеем,
с трибуны о согласье пробубнит —
не с тем, что заупрямиться посмело,
а с тем, где разум
лихом перекрыт,

где ночь, придя на смену дню, остыла
и, злобой век сумбурный теребя,
с своих подпорок долго не сходила
и кутерьмой грозила,
новый день кляня.

В мечте беспламенной, угодливой,
нечистой
полощатся пространства миражей.
Он, непоэт, раздумывает мглисто,
и, мстя эпохе, всё ж бредёт за ней.

Покажется отменным патриотом,
зайдётся чёрствой песнею иль гимном.
От пустоты всторчит перед киотом,
осанну вознесёт перед крестом
могильным.

Не верит ничему; себе помочь не хочет.
Живёт едой, ворчбой и суетой.
Над вымыслом не плачет, а хохочет,
бесчувствен как ноябрь перед зимой.

Поближе к стойлу подтащив корыто,
жуёт своё, на рифму наступив,
от всех ветров как будто бы укрытый,
забыв, что предал всё и что
пока что жив…

Петля в песках

Укажу себе цель и пойду,
и дойду до пределов своих…

Над чертой окоёма,
у края, где в мареве знойного полудня
плавились гребни
усталых
чешуйчатых дюн,
я слепую удачу настиг —
в силуэтах
цветущих садов неземных.

Где-то там, наверху, я б хотел,
забытью подчиняясь,
узнать про другого себя.
Я горел бы и знал,
как легко
до конца
догореть.
Там надежда меня
под блаженный прохладный уют
зазывала —
опять и опять!
Но взойти мне туда уже было тогда —
не успеть.

В том ничьей не бывает вины,
если скрытой —
не нашею – ложью
украсится явь.
Мне предчувствие горечи
жгло
отлетавшие к зорям
лукавые сны;
я, —
не принявший чьи-то следы
впереди —
за свои, —
оказался неправ.

«Когда от жизни, битый и угрюмый…»

Когда от жизни, битый и угрюмый,
я ухожу, зализывая раны
и погружаясь в пропасти раздумий,
с тревогой лень мешаю и стыжусь
страданий;

когда от этой жизни ухожу я,
которая с упорством и дерзанием
срывает походя завесы мироздания,
ищу покоя, прячусь и тоскую, —

тогда, припав осевшею душой
к надмирной тишине,
я времени вдруг постигаю торопливый бег.
В его стремнинах неуместен
сердца истомлённый,
запоздалый бой.

Теперь я в нём своё предназначенье слышу.

И, на себя восстав,
я рушу свой несбывшийся
покой!
И вновь я тот же, кем и прежде был,
и грудь свободней дышит.

Двое

Звёзды меркнут рой за роем,
в водах измочив лучи.
Океан опять – спокоен;
он,
  усталый грозный воин,
мирозданью подневолен,
утоливший жажду боем,
раззадумался в ночи.

Океаном успокоен,
мирозданьем обусловлен,
ты,
  стихосложений воин,
над своей судьбою строишь
купол, залитый зарёю,
в чувствах – будто перекроен,
держишь рифму наготове
и – в рассеянье —
молчишь.

Неизбежное

То слово как пламя взвихрилось меж нами;
мы знаем его; и оно так прекрасно.
Не нужно секунд и усилий напрасных.
Так скажем его, и – оно не обманет.

Уж звуки восторга у сердца таятся;
блаженно томленье; забыты сомненья.
В замке наши руки – залог единенья.
А в душах так сладко, и сил нет расстаться.

Желаниям тесно в пространствах просторных,
и вздохи значением близости полны.
Так буйные в море рождаются волны.
Так в миге вмещаются счастья аккорды.

Разбиты тревоги – пусть так всё и будет!
И радость торопится с негою слиться.
Экстаз предстоящего светится в лицах.
Замкнулся наш круг – нам не выйти отсюда!

И в трепете помыслов мы уж готовы
вдвоём оказаться на чудном пороге.
Секунды даруют так много, так много.
Не станем же медлить и скажем то слово!

«Серые туманы…»

Серые туманы
родины моей.
По-над океаном
небо – голубей.

Звёздочка упала.
Звёзд – ещё немало.
Звёзды притуманенные
пляшут словно пьяные.

«Всё, что ещё от меня осталось…»

Всё, что ещё от меня осталось, —
то – что есть; – не такая уж малость!

Немотный и твёрдый, в пространствах пустых
я странствую, вечностью меряя их.

Чтоб уцелеть на путях неизведанных,
служу лишь себе, терпеливо и преданно.

Только и дела всего у меня, что грановка
моей ипостаси: грановка-обновка.

Лечу или падаю, всё мне едино.
Лучшая грань – от толчка в середину.

Не остаётся сомнений: удар что надо.
Ещё не разбит я! и то – мне наградой.

Хоть гранями всё моё тело изрыто,
я не ропщу; – они мне – прикрытье.

Новые сшибки – раны на ранах;
ими шлифуются прежние грани.

Сбитой, отшлифованный, я и внутрях
твёрд и спокоен будто бы маг.

Тем и довольствуюсь в ровном движении.
В радость мне встречи, желанны сближения.

Нету в них умыслов; только судьба
их преподносит, блуждая впотьмах.

В том её действенность и непреложность:
редко в пустом возникает возможность.

Рядом ли дальше чей путь проискрится,
это всего лишь намёков частицы…

Выгоды есть и в бесцельном движении:
вызреет случай войти в столкновение…

Всё, в чём я сущ и одарен судьбою,
то всё – во мне; – и – прервётся со мною.

Романная Проза

Глухим просёлком – в оба конца

Дорожный роман из времени российского крепостничества

Безумие моя прежняя жизнь…
В.Розанов. «Уединённое».

С утра его одолевало раздражение и беспокойство. Как ни пытался выявить тому причины, ровным счётом ничего не удавалось.

Построчная выделка текста, за которую он принялся, встав ото сна едва рассветало, укладывалась на выношенный заранее только в общих очертаниях замысел непринуждённо, легко, даже как-то мягко-пружинисто, плавно перемещаясь к очередному прояснению целого, к уверенному подбору и оштриховке наиболее зыбких словных обозначений и всё ближе – к последней, победной точке; форма стиха тоже вроде задавалась отменной, была по отношению к его же образцовым вещам быстро и легко узнаваема и неистёрта, а – через то – могла считаться как бы даже неуязвимой, что позволяло самому предвидеть ещё одну из тех больших и верных удач, какие приходили к нему в лучшие для него минуты, часы или целые дни.

И во всём ином, что его сейчас окружало и что было с ним в какой-то связи, к чему он мог иметь отношение по необходимости реально возникшего нового дня, также не находил он, как ни пытался, примет к непонятному в себе и чуждому перетеканию мыслей в сторону какого-то вкруг обступавшего, потного, заволакивающего медленного томления и тревоги.

«Тоска, брат, и скука, – пробовал он приободрить себя и умерить накатывание уже прямотаки чувствуемой оскорбляющей неровности духа. – Однако же не один ты обречён бывать временами в их липких лапках. Что поделать, к людям и та и другая приходят не спрашивая. Впрочем, не всегда бывают они настолько в силе, чтобы заморочить; вот наперекор им распишусь на такое, что выйдет из них же, а обернётся чем-нибудь лучшим от меня…»

Между тем проходило всё больше времени, а странное убывание ровного и здорового чувствования, того нужного, умиротворяемого волею состояния, при котором было бы нетрудно осаживать хоть какие приходящие в голову неуместные размышления и отдельные мысли, не уменьшалось.

Неприятным и оскорбляющим воспринималось прежде всего то, что расстройство было как снег на голову в летний зной; оно ведь, что представлялось ему совершенно очевидным, никак не могло исходить из предыдущего, бесспорно, главнейшего события пока ещё только начатой им поездки, – события, протекавшего совсем недавно, считанные часы назад, здесь же, в этом приюте, которое вполне могло претендовать на то, чтобы им очень долго восхищаться в предстоящем и за которое следовало не иначе как благодарить судьбу.

Впечатления, связанные с недавней, по-настоящему роскошной встречей, сохранялись настолько полно и ощутимо, не развеянными к утру, что он твёрдо верил и знал: к расстройству духа здесь не могло бы привести ничего, равно как не виделось тут и других веских причин. Оставались, наверняка, лишь – мелкие. Может быть – из-за краткого сна? Или – выпитого вина? Полно! Об этаком бы и говорить-то следовало только в шутку. Но тогда – что же? Неприятное стесняло волю, настойчиво требовало своего неотложного обнаружения. Алекс подобных метаморфоз с собою ещё не знал.

Досада росла. Ему представлялось, что внутри у него угнездилась и занимала всё больше места вязкая обессиливающая растерянность, уводящая в некий таинственный тупик. Нужны

были хоть какие-то объяснения происходящему. Найдутся ли они? То, что прошло, не переберёшь ведь всё целиком быстро и сразу, в подлинной последовательности, будто кучку зёрен, когда, притронувшись в ней к одному из них, моментально образуется новая комбинация с остальными…

Ну да, не очень-то приятно оказаться не у себя дома, в таком вот захолустье и – так неожиданно – без Мэрта.

С ним съехались только для одного – для дружеского редкого общения, намеренно устранившись от надоевших бурливых светских городских помех, пользуясь подходящими для этого совпадениями и возможностями.

И непредвиденное расставание с этим человеком, каким бы обрывным оно ни было, тоже вроде как не повод расстраиваться. Нет, как ни рассуждать, а всё какая-то нелепица.

Встреча была ими почти что условлена, уже давно, а уговор по её части представлял подобие взаимного твёрдого обязательства, к которому они оказались притянуты через посредство Львёнка. Тот при любом случае донимал старшего брата, рассказывая ему о лучшем своём приятеле, ставшем для него неким символом или кумиром. С Мэртом Львёнок сдружился ещё в подростках и с годами не только не отыскал в нём чего-то не в его вкусе или в их обоюдных отношениях, а, наоборот, ещё больше проникался всяческим к нему доверием и прямо-таки обожал его, нескрываемо наслаждаясь приобретённой и уже основательно скреплённой дружбой с ним и будто светясь ею, вследствие чего в нём во время присутствия друга или даже при упоминаниях о нём им самим или кем-нибудь очень заметными были постоянное сильное чувственное волнение и мужественная гордость за него, легко передававшиеся посторонним.

Алексом это страстное расположение воспринималось не только с некоторым укоряющим безразличием и снисходительностью, но и с любопытством, как сомнительная ценность, необходимая, как он считал, именно такому добродушному и честному болванишке, малому, по натуре весьма привязчивому, но не очень постигавшему в людях низменное и переменчивое.

Когда более десятка лет назад Львёнок познакомил его с Мэртом, своим ровесником лишь чуток старше себя, Алексу ничего не оставалось, как раз и навсегда признать в них необычайное родство в понимании каждым своего значения для другого.

Разное там дополнялось одно другим, и уже в ту пору Алекс мог без труда заметить, что оно оформилось как неразделимое целое, чем является, к примеру, сочетание котла с крышкой для него.

Считать такое сравнение удачным можно было, конечно, только с большой натяжкой; из него торчал дразнящий открытый выпад и в сторону превосходно знаемого им братца, личности родственной и в этой связи как бы не обязанной очень уж обижаться на шутку, и – в сторону Мэрта, что могло казаться неосмотрительным, поскольку в данном случае исключалось равенство определённо не в пользу обоих друзей и уже обоими, совместно, такой выпад мог расцениваться как унижающий; но даже имея в виду эти важные смысловые нюансы, Алекс не отказывался от подобранного сравнения, найдя его точно выражающим характерное во внутреннем устройстве друзей, когда вроде как не должны были обижаться оба, ставшие одним.

Не желая, впрочем, игнорировать макиавеллевскую заповедь, что при нанесении обиды хотя бы кому надо рассчитывать её так, чтобы не бояться мести, а также – помня опыты своих пустячных по мотивации дуэлей, далеко не безопасных как непосредственно для своей жизни, так и своей же репутации, он позаботился ещё и об усовершенствовании обзывной конструкции, придав ей более изощрённую двоякость прибавлением того, что котёл надо пока воспринимать пустым; – будто бы так выходило и понятнее, и утончённее.

Находкой он позабавлялся какое-то время сам, резонно остерегаясь возмущений, но как-то всё же поведал о ней болванишке, порядком насмешив его.

Когда же лукавое обозначение парочки дошло до Мэрта, тот настолько благодушно и весело воспринял его, что изобретателю уже, похоже, не оставалось ничего иного как признать в себе недюжинные способности к вызову доверительного расположения окружающих не одними лишь стихами. Стихи тут послужили благоприятным связующим средством, общим уже для всех троих.

Львёнок находил долгом знать о поэзии как можно больше, чем как бы впрямую содействовал Алексу, почти на детский манер поощряя в нём громадное поэтическое дарование и сделанный братом нелёгкий, ответственный выбор жизненной колеи, теперь уже по-настоящему состоявшийся.

Познаний у Мэрта тоже нельзя было не замечать. Наряду с усвоением большого числа стихотворных текстов он был лично знаком со многими известными их авторами, живыми современниками, включая сюда и малодоступных сочинителей сановнего уровня, а, кроме того, уже и в годы, отдалившие его от подростковой поры, не ленился дотошно изучать филологию в её разнородной совокупности и даже в дополнение к ней – философию. К делам его службы в качестве порученца в военном ведомстве это имело отношение самое, наверное, отдалённое, тем не менее он, казалось, был по-настоящему увлечён изысками в светском духовном, что Алексу, мало доверявшему одному только дворянскому происхождению, не могло не импонировать, и на том, собственно, возникло у них и прочно удерживалось на протяжении многих лет тёплое, искреннее и даже какое-то восхищённое, чисто приятельское расположение друг к другу.

Из этих отношений как бы сами собой устранялись хотя бы какие недомолвки и требования, кроме, разумеется, тех, которые диктовались этикетом просвещённого вольного дворянства и были хотя и строги и нередко даже безжалостны и жестоки к переступавшим их, но в то же время служили надёжным и удобным средством быстрого раскрытия и утверждения тех, кто в соответствии с данными им от рождения правами размещался в сословной среде; каждому её представителю они давали равные шансы на их признавание в таком сообществе и наибольший возможный простор к поддержанию в нём не только полезных, но и в высшей степени утончённых взаимоотношений, часто с первым рукопожатием, при знакомстве, не говоря уже о том, что они могли входить в практику общения просто и естественно, как бы вне связи с правилом, установленным, конечно же, прежде всего для взрослых, но – ещё и на стадии безотчётного детства.

Отношения, сущность которых задавалась как бы сама собой, априорно и непременно для каждого в дворянском сословии, были по-особенному и дороги, и желанны; считалось нормой их принимать и никогда не отказываться от них, использовать любую возможность к их осуществлению и поддержанию.

Собираясь к Лемовскому по делам обещанного тем займа, Алекс имел основательные причины не давать особой огласки своему посещению родовой усадьбы Мэрта, поскольку надо было считаться в первую очередь с необычным реноме человека в статусе найденного потенциального займодавца. Как раз поэтому Лемовский был извещён письмом соискателя денежной суммы только о вероятном сроке прибытия. Отказываться же от свидания с Мэртом не имело существенного смысла. Ведь ехать было по тому же направлению дороги, причём её начало находилось сравнительно недалеко от основного губернского тракта. Рассчитывая там передохнуть и предвкушая получить, может быть, удовольствие от своего перемещения, как это у него выходило едва ли не каждый раз прежде, он отправил записку Львёнку, сообщив, когда смог бы добраться до усадьбы. Тому даже не надо было объяснять, что намёк предназначался непосредственно Мэрту, и уже дня через четыре Алекс получил от него уведомление, что он непременно будет у своей матушки в одно время с ним. «Я только что из заграничной поездки, – говорилось в его записке. – Не так-то легко упросить начальство именно сейчас дать

мне короткий отпуск, но я хоть перед кем на колени стану ради встречи с тобою, дружище, в своём доме в Нееееевском, и она обязательно состоится…»

Встреча ожидалась им трепетно и в какой-то озаряющей предстоящей радости, и всё то, что в ней заранее угадывалось, то она и дала, удавшись, без преувеличения, во всей полноте и значительности: как много было неподдельной искренности в обмене впечатлениями! какие разные воспоминания и темы (само собой, и та, шутливая, веселившая обоих, – о злополучном пустом котле) затронуты, обновлены и развиты в пылающем горниле торопливых, не сдерживаемых друг перед другом тирад и реплик! и в какой упоительной готовности хотелось каждому прозрачно и всецело выставиться перед ненасыщаемой открытостью взгляда и лица визави, при тихом перезвоне маленьких бокалов с токайским!

Не обошлось и без декламаций, и тут, в обустроенном ещё по-старинному и сильно запущенном кабинете его давно отошедшего в мир иной хозяина усадьбы, где на потолке, стенах и вещах отражались таинственные мерцания торопливо догоравших, утомлённых темнотою свечей, звучали потрясающе кстати и обоими в очень хорошо понятных и знаемых интонациях лучшие стихи их любимых поэтов и, конечно, стихи, написанные им, Алексом; читал и он сам, выбирая, как то и подобало для столь волнующего момента, написанные недавно или самые свежие, и Мэрт, и то общее, что вставало при этом над ними и в них, трогало их до крайности и было лёгким и светлым как неподдельное, пребывающее тут же, рядом, тёплое счастье.

А возможность по окончании ночи продолжить такой скрепляющий в обоюдном согласии праздник близкородственных душ никак не давала потом уснуть, и сам перерыв общения в связи с отходом ко сну представлялся хотя и ненужным и лишним, но в то же время он не опустошал и не огорчал, поскольку в нём, как почти разгаданная загадка, светилось недалёкое обязательное продолжение того же очарования встречи и взаимного чувственного насыщения.

Столь яркий эмоциональный подъём был для Алекса как бальзам для души; именно это требовалось ему, чтобы хоть как-то отрешиться от обступавших его в последнее время серьёзных трудностей в виду новых к нему подозрений политического свойства и всё более плотного безденежья, из-за чего приходилось буквально разрывать себя, мотаясь между кредиторами. И. пожалуй, только одно обстоятельство из этого ряда могло не огорчать, а соединяться с тем состоянием бодрящей приятности, какое он испытывал теперь от общения с Мэртом.

Оно было связано с Лемовским, которого он знал не так чтобы долго, но вполне достаточно для обращения к нему за помощью.

Сначала услышать об этом человеке ему довелось на одном из раутов, где о Лемовском говорили как о субъекте решительном в собственных и неизменяемых убеждениях, сильно противоречащих общепринятым.

Помещик старого покроя, он сохранял то понимание сословной вольности, которое в условиях достигнутого им сравнительно благополучного материального достатка легко уводило его в искреннее благодушие по отношению к крепостным и в достаточно весомой части даже поощряло их устремления к поступкам вопреки барским началам и даже к воле, понимавшейся ими, разумеется, на свой лад – слишком общо и только в розовых красках.

Был он к тому же доброхотом, легко ссужавшим любому из дворян, кто нуждался в его финансовой поддержке и просил его о ней.

Два этих качества его натуры легко уживались одно с другим, между тем как в их оценке на стороне чем дальше, тем более проступало резкое сословное неприятие, в том числе властями, как местными, так и губернскими и столичными.

В обширном уезде, где размещалась его вотчина, стали вдруг проявляться протестные и даже разбойные почины подданных, и благодушному барину тут же вменили это в вину первому из тамошних владельцев земель и душ. Его состояние постепенно расстраивалось и убывало, главным образом из-за невозвращения ему долгов, но он предпочитал оставаться самим собой и в таких обстоятельствах.

В ту пору возил он двоих его дочерей в Москву, чтобы, как незамужних, готовых на выданье, показать их на зимних балах. Алексу представили его на таких смотринах вместе с его семейством. Дочери были обе красавицы, и по результатам не только балов, но и всего, более месяца, пребывания заезжего семейства в белокаменной каждой досталось тогда немало слов лести и обожания, хотя до прямого их сватовства дело так и не дошло.

Будучи наслышан об Алексе, как о большом и ярком стихотворце, вовлекавшемся в опалы, вольнодумствующий помещик, вопреки осторожным ожиданиям поэта получить от него отказ по части дачи в долг, не донимал его расспросами о причинах обращения за поддержкой и о состоятельности, как берущего взаймы, а словно бы только и жаждал, чем бы порадеть просящему, и сразу дал согласие на выдачу ему довольно крупной денежной ссуды, пригласив его для её письменного оформления в своё уездное имение, а заодно и погостить там. Просил лишь заблаговременно уведомить его о приезде. Алекс был по-настоящему тронут любезным и простым обхождением нового потенциального займодавца, поскольку в общении с ним даже не возникало необходимости непременно сразу заявлять о сроках возврата ссуды, о процентах и прочих условностях, к чему уже с самого начала всегда обязывала любая, даже мелкая сделка.

Не оценить такого обстоятельства было нельзя. В то время оно касалось уже целого большого круга разорявшихся помещиков или их отпрысков, занятых по преимуществу на военной или гражданской службе или отставных, живших по городам, вне своих усадеб, и постоянно крайне озабоченных из-за неумолимо нараставших обязательств по их задолженностям – то ли имущественным, то ли монетарным. Займодавцам, укреплявшимся в их опыте отказывать в помощи, приходилось искусно уклоняться от наседавших на них со всех сторон просителей такого пошиба. Варианты же погашения задолженностей существовали весьма своеобразные, целиком отразившие малопригодный характер деловых связей и отношений дворян внутри своего сообщества и ставшие тогдашней российской обыденностью.

В единстве тут давали о себе знать породная спесь и наивность.

При том, что молодые поколения дворянских семей и кланов ещё таскали за собою немалые доли наследованного богатства и что они, стремительно беднея, не отдавали пока ясного отчёта своей трагичной участи, выдача в долг и приобретение в долг могли представлять собою нечто вроде фетиша свободной воли в строгих рамках имперского имущественного права.

Выражению такого порядка хорошо служил старый обычай, по которому обязательства можно было легко погасить, перезаняв очередную денежную сумму или удачно разыграв карточную партию, в том числе с кредитором. А в основании тут был нерушимый догмат феодальной чести и сословного достоинства; его важнейшее проявление заключалось в особенной означенности данного в поручение слова, которым дворянин часто мог и ограничиться, обязываясь возвратить долг.

Кое-кому при таком положении вещей даже удавалось жить, по их представлениям, как бы играючи, в неге и в лености, и при этом не чувствуя себя хотя бы в чём-то утеснёнными, а тем более – виноватыми. Истории понадобилось именно такое племя закоренелых шатунов и бездельников, которых было тем легче оттеснить на обочину от наиболее ответственных дел, чем более они впадали в отвратительную бездну своей крайней беспечности.

Алекс имел все основания считать себя искушённым в этой зыбкой игровой сфере. Но как человек, умевший не то чтобы заглядывать далеко вперёд, а хотя бы интуитивно распознавать некоторые особенности процесса обнищания себе подобных, он не мог уйти от размышлений о странностях нараставшего у него на глазах перерождения былого уклада в новые формы.

Бродившие в нём предчувствия чего-то большого и требующего более серьёзного и ясного постижения приводили его к выводу о необходимой сдержанности в части обеспечения

своего достатка, к чему не в состоянии были ещё подойти многие, если даже не все, кого указанные странности могли касаться.

Вспоминая теперь о непродолжительной беседе с помещиком, поэт с удовольствием восстанавливал в памяти отдельные, сказанные ими обоими фразы и то, как его в целом удовлетворило общение с ним. Сюда примешивались и впечатления от увиденных и представленных ему на балу красавиц, дочерей доброхота. Лицезреть их было приятно и волнительно. Особенно изящной и жизнерадостной показалась Алексу старшая из них по возрасту, Аня, двадцати лет. С нею поэт даже станцевал пару мазурок и участвовал в контрдансе, и она, уже наслышанная о нём, о его не одобряемых светом экстравагантных суждениях и поступках, и подверженная общепринятому воспитанию в дворянской среде с обязательным приобщением к литературным и другим новостям из жизни столиц, читавшая, как о том она сама сообщила, некоторые из его наиболее известных виршей и знавшая от отца о его приглашении в усадьбу, сказала ему: «Непременно приезжайте; все у нас будут вам очень рады, и я – тоже».

Отчётливо помнилось и другое, что она успела проговорить от себя или отвечая на вопросы Алекса, пока они проносились по зале, то сближаясь, то расходясь, ожидая начала музыки или направляясь по завершении танца к ожидавшему её семейству и его надменному столичному сопровождению, напряжённо следившему за энергичной, привлекавшей их внимание парой. То были простые слова и фразы молодой дворянки-провинциалки, слегка утомлённой церемониями смотрин, когда полагалось не скрывать своего лёгкого ироничного отношения к смысловой части их обывательского содержания, – о дорогах до Москвы, о самой Москве, её улицах и театрах, об уездной скуке, её чудаковатых тётушках и каких-то ещё близких и дальних родственниках, о модах, наскоро прочитанном новом заграничном романе…

Услышанные им слова и фразы не казались истёртыми, заученными или трудными для изречения в данной обстановке; они как будто предназначались быть сказанными Аней партнёру исключительно этого особенного отрезка времени, ввиду чего оказывались почти незаметными естественные томные и нешумные захваты ею порций воздуха при каком-нибудь очередном слоге или резком движении, – всецело женском приёме таинственной игровой расстановки акцентов над произносимым. В целом её изречения отличались такой искренней доверительностью, что просто не могли не указывать на некое возвышение персональной девичьей чувственности, обращённой в упор на Алекса, будто бы с уже установленным правом на что-то успевшее объединить их обоих, с уверенностью, а то, может быть, и с надеждою… Уклониться от такого подчёркнутого расположения к себе он не мог бы да и не хотел.

В Ане его очаровывала и покоряла какая-то необычайная свободность и свежесть.

Танцуя, девушка только слегка разрумянивалась; неброским было и её смущение, вовсе не деревенское, но и не на городской манер, которое девицы дворянского круга умели изображать искусственно, перенасыщая его спесью и каким-то затаённо-балагурским вызовом. Прелестным и обвораживающим было её тёплое и аритмичное дыхание, смешанное с едва уловимым тонким запахом некрепких цветочных духов. Её непышная, но изысканная, чуточку рыжеватая причёска, великолепный, в полную силу развившийся торс, черты лица с разбросанными на стороны надбровьями, тёмно-карие вдумчивые зрачки глаз, сердечко пунцовых выпуклых, несомкнутых губ, отдающее шёлковыми блёстками выходное платье, с отменным вкусом подогнанное к фигуре, изящные, оголённые чуть пониже локтей руки, – словом всё, чем она являла себя перед собравшимися, располагало к себе, трогало, увлекало, так что глядя на неё и восхищаясь ею, поэт испытывал некое возвышение и обновление себя, приятно дополнявшееся осознанием причины, почему это происходило и почему он с охотой принимал нараставшее туманящее кружение головы, смутные ощущения блаженной радости или даже восторга…

Медленно уходя в сон, Алекс позволял таким вот образом неспешно размышлять о разном, приближая к себе или отдаляя от себя то, что могло его занимать в данный момент.

День перед этим хотя и выдался по-своему трудным из-за того, что протекал в дороге, но в целом всё складывалось, пожалуй, в пределах обычного, так что, казалось бы, и предстоящее также должно было наступить, не уменьшив накопленной удовлетворённости собой и ровного, тёплого покоя в душе.

А под утро, ещё до рассвета, Мэрту понадобилось отъехать по какому-то срочному вызову, и они простились накоротке, в отсырелой прохладной теменности усадебного двора, перед поскрипывающею фурою с уже впряжёнными в неё лошадьми, не отдавая, как только и мог бы считать Алекс, определённого отчёта в значении происходящей в эту минуту разлуки. Она как реальность даже и не воспринималась; попросту будто бы расходились двое недалеко один от другого на одном и том же месте общего действия, где коли подать голос или махнуть рукой, всё тут же вернётся к прежнему.

С ними на дворе были матушка Мэрта Екатерина Львовна с ключницей Агрилленой, сторож Каллистрат, державший перед собою единственный на всех тусклый фонарь, конюх Мирон, Мэртов слуга да ещё несколько человек из домашней челяди.

Тут происходило всё то, что всегда бывает при подобных расставаниях: затяжные сумбурные напутствия отъезжающему беречься от хворей, не забывать и наведываться, пожелания и поклоны тем, о ком только могло вспомниться в этот остуженный момент последнего остатка ночи, будто обязательные для женщин беззвучные скупые всхлипывания, поспешные объятия и поцелуи, венчающие обряд прощания.

Провожавшие, оставленные и умолкнувшие, как были так и не двигались, пока упряжка со смятой фигурой не вполне, наверное, проснувшегося и от вечера ещё не протрезвевшего возницы на облучке медленно и неуклюже поворачивала на выезд к воротам и, взяв направо, повдоль ограды и построек, замыкавших в той стороне усадебную территорию, ещё, казалось, дольше положенного давала затем о себе знать гулким затухающим перестуком колёс и конских копыт по мере её удаления, вслед за чем были уже закрыты и ворота, за которыми тут же исчез Каллистрат, и конюх Мирон отошёл куда-то в свой непроглядный угол, разом прекратился и вызванный отъездом лай здешних собак, так что стало вокруг совершенно тихо, и уже резче воспринималось прикрытое теменью состояние отсырелости свежего, насыщенного ночными запахами, неподвижного воздуха.

Только теперь все остальные прошли к дому и разбрелись по комнатам. Екатерина Львовна, испытывавшая сильную родительскую подавленность, не забыла, однако, об Алексе, как особенном госте, появление которого следовало дорого ценить за возможность нечаянной, но столь желанной для матери встречи с сыном; ещё не умея до конца унять подступавшие слёзы, она просила его простить великодушно её и Мэрта и пока остаться, не уезжать, по крайней мере, хотя бы день, поскольку отъезд непременно станет ей поводом для расстройства, такого же, как сейчас; в кабинете, сказала она, можно ему и поработать сколько нужно, а теперь обязательно следует хорошенько выспаться, ведь вон как допоздна рассиделись да разговорились оба на радостях.

Отказ при таких пояснениях считался бы неуместным, и пришлось пообещать, ведь совет был располагающим и добрым, как и всегда в тех довольно частых случаях, когда поэту при его скитаниях приходилось бывать и задерживаться у людей одного с ним сословия. В порядке вещей, с которым свыкаешься. Разве что относиться к нему Алекс предпочитал на свой лад.

За ним не в едином числе водились неожиданно скорые обрывы задушевных, постоянно жаждаемых им общений, наподобие того, как это вышло теперь у него с Мэртом; так бывало, что до срока, обозначаемого своим же обязательством, он, извинившись, сам уезжал вдруг из чьей-то усадьбы или дома, поспешно изыскивая для этого стоящий, благовидный предлог.

Теперь огорчать старушку он не собирался никоим образом, помня, что спонтанный вольный отъезд был бы неуместен и в виду заранее рассчитанного плана.

До намеченного прибытия в Лепки, с учётом остановки для встречи с Мэртом, времени ещё было с запасом, чуть ли не двое с половиной суток, и появиться там раньше могло быть воспринято и неудобным, и несколько странным, если вообще не двусмысленным. В таких обстоятельствах не следовало торопиться. «Еду завтра», – назначил себе Алекс, соглашаясь на предложение барыни и предполагая ещё раз подтвердить ей это, если о том снова зайдёт речь с нею. Сейчас же, поутру, после сна, оставалось только встряхнуться и отбросить прочь навалившуюся подавленность и нервозность.

К тому как будто и должно было всё идти под воздействием принятого решения. Хватит хандры. Вот и строчки выбегают из под пера, будто их заказал – точность и простота. Не ленись, вдохновение! Однако, было уже ясно, что сложением текстов перебороть раздражение и тоску не удастся.

Он решил устроить себе прогулку, и, послав за слугой Никитой во флигель для мужской прислуги, велел тому принести свою железную палку, а также – испросить у барыни провожатого мальчишку, посмышлённее, который бы мог дать толковые пояснения при обходе свободных окрестных мест.

Никита не медля отправился к навесу для фуры и, захватив с её пола металлический предмет, возвратился, прежде накоротке переговорив с конюхом, а затем и с барыней, удержавшей его, по меньшей мере, десятком вопросов и грубых несуразных наставлений, раскрывавших необъятный, хотя и сильно утеснённый условиями глухой и замкнутой усадебной жизни, мир её интересов. Представ у входной двери в кабинет, слуга только было собирался отчитаться об исполненном поручении перед своим барином и принять, если они последуют, новые, как появилась тут сама Екатерина Львовна.

В её усталом лице выражалась какая-то весьма нешуточная расстроенность, лишь в этот момент набиравшая силу и пока не имевшая окончательной формы. Причина стала понятна с первых её слов.

Екатерина Львовна, заламывая руки и едва ли не причитая, поведала гостю, что мальчишка Володей, с навыками сопровождения заезжих и как на всё имение один изо всех подростков освоивший чтение книжек, с прошлого вечера был отправлен в ночное с дружком Петей и крепостным Ермолаем, и там они, верно, все беспробудно спали у костра и не уследили набега волков, а те едва не отбили от табунка двоих рослых жеребчиков, подрав им огрудки и передние ноги, и вот теперь, уже с утра, все трое незадачливых стражника заслуженно выпороты по всей положенной строгости, а поскольку нынче день экзекуций, выпороты, кроме них, ещё двое подростков, пасших дойное коровье стадо и позволивших, уже не впервой, переходить отдельным коровам за край установленного выгона, в места, где изобилует привлекательный, но опасный для переедания скотом клевер, а больше из мужеского пола уже никого и нет пригодных для сопровождения, так что она, хозяйка, не знает как теперь и быть и огорчена этим без меры, вот если бы только стало возможным соизволение взять сопровождающей девку, то прямо сейчас она готова прислать Марусю, мастерицу на многое, знакомую уже и с грамотой и не раз помогавшую на здешних прогулках приезжавшим дамам и ей самой, Екатерине Львовне…

То, как издалека и осторожно было сделано это предложение, указывало на особый оттенок в нём, заключавший запрет в общепринятом смысле, но в то же время допустимый к нарушению ввиду объяснённых соответствующих причин, – разумеется, с учётом согласия принимающего предложение.

В сословии дворян тогдашней поры этаким намёкам на обязательную строгую отстранённость от простонародья и особенно от его женской половины ходу, как правило, уже не

давалось; однако тут ведь была деревня с будто нависавшей над нею мощной слепой и угрюмой религиозностью и затяжным отсталым старорусским укладом, задававшимся хотя и ханжеской, но по-своему целесообразной моралью крепостников; из-за их опасений потерять бесконтрольную власть не могло быть и речи о каких-либо послаблениях для холопов, прежде всего, конечно, в интимном и сокровенном; как раз поэтому на бесцеремонное глумление барыни над истёртым табу полагалось делать определённую скидку, да, к тому же, сейчас, тут, возле двери, всё ещё находился почти как оторопевший Никита, и она могла в продолжение прежней с ним неравной беседы, а также по закоренелой привычке всесильного деспота выразить личное понимание идеальной нравственности в своём гнезде одновременно и ему, не её, но всё же – холопу.

Для Алекса тут не было ничего неясного. Оставалось только поблагодарить помещицу за столь обоснованный выбор провожатой. Она, как выяснялось, умела резко прекратить общение и уйти, освобождая собеседника от своего присутствия, в чём была видна характерная особенность ведения дел в бедневших имениях, когда с целью вовлечения в крестьянские работы как можно большего числа рук крепостных их хозяевам приходилось, как правило, самим брать на себя обязанности управляющих, приказчиков, а нередко – даже и старост. Расставшись с барыней, поэт сразу же отослал назад и слугу, приняв от того принесённый увесистый предмет, нужный, чтобы взять его с собой. Им он любил упражняться в неторопливой ходьбе наедине, временами бросая его вперёд себя на манер городошной биты, при этом подсекая выводки стеблей конского щавеля, лопухов или отвердевшие комья земли; годился предмет и на какой-либо непредвиденный случай, как средство защиты или устрашения; изменять привычке не было оснований и в данных обстоятельствах, ввиду незнания местности, а также потому, что часть пути ему, возможно, захотелось бы проделать непременно одному, без провожатой.

Вскорости к выходу всё у него было готово; появилась и Маруся.

Она была лет семнадцати, с некоторой робкой и мягкой красотой и с чуть заметной крестьянской огрубелостью и подавленностью в движениях; впрочем, эта особенность хорошо прикрывалась в ней цветущей свежестью и какою-то искрящейся чувственностью; изогнутые брови придавали особую лучистость её глазам; слегка подёргивались ноздри и яркие припухлые губы. Алекс нашёл её вполне опрятной, так что неожиданно для себя несколько даже посожалел насчёт своей наружности, которую считал не вполне удавшейся.

Он знал, что его рыжеватые курчавистые волосы выглядели не соответствующими цвету шершавой смугловатой кожи лба и щёк, испещрённой мелкими, как от озноба, не то порами, не то пупырышками, в целом придававшими его продолговатому лицу отчётливый негроидный рисунок, из-за чего оно уже и не могло вмещать присущие любому русскому, идущие как бы изнутри черты привлекательности, не говоря уже об эталоне броской мужской красоты вообще; при том, что он ещё носил бакенбарды, а на его лице постоянно удерживалось выражение какой-то непреходящей неровной обеспокоенности, а ещё и самим хорошо осознаваемая вынужденная и тем сильно огорчавшая его отстранённость, равная нескончаемому уходу в себя, это очень заметно тяжелило и старило всю его в изрядной мере лишённую фамильной истончённости и выхоленности внешность; на много моложе могли казаться, пожалуй, только глаза, точнее говоря, зрачки глаз, выражавшие лёгкое ожидание и таящие улыбку, замешанную на искреннем задорном профессиональном любопытстве, но – и то – не всегда, а лишь будучи тронутыми гармонией мыслей и чувственности, прикосновением к интеллектуальному – такого рода состоянием, которое многое значило чаще само по себе, вне общения с кем-либо.

Сейчас, в присутствии молодой девушки, наступал миг непроизвольного быстрого возбуждения и всплеска той самой гармонии, и это забавляло и радовало его. Он отвлекался; ему становилось легко и даже весело.

На крыльце из деревянных обструганных распилов, уже в эту раннюю пору до блеска вымытом и даже успевшем просохнуть и сохранявшем пока специфичный запах свежести из-за соприкосновения с влагой, Маруся угощала его душистым свежеиспечённым ржаным хлебом из помола нового урожая и в меру накисшим прохладным варенцом с подпаленной тёмно-коричневой верхней корочкой – следствием точной выдержки молочной смеси в хорошо истопленной и долго не остывающей каменной печи. Подать такое меню распорядилась Екатерина Львовна. Предпочтение гостя она без труда могла разузнать от Никиты, любившего подобным угождением порадеть неприхотливому барину. И лучшего для такой вот утренней поры Алекс и желать бы не мог. Нередко именно эту любимейшую им деревенскую снедь он сам заказывал почти спозаранок, находясь в странствованиях.

Места за воротами вблизи усадьбы изобиловали просторными ровными полянами с суховатой, едва прикрывавшей землю, истомившейся от перестоя травой, с редкими, подпаленными солнцем последними в сезоне цветами на высоких тонких стеблях и с раскиданными ветром, упавшими ещё во многом до срока листьями.

То здесь то там вздымались одинокие ветвистые деревья, преимущественно дубы, с молодым смешанным смелым подростом.

За полянами просматривался открытый безлесный другой берег речки, подступавший на ближайшее, небольшое расстояние как раз напротив ворот, а налево, вверх по её течению, чуть отодвинутая от господской усадьбы обнажённо представала скученность крепостных подворий, скотных загонов, конюшен и воловен, гумно, амбары и открытые навесы для хранения телег и саней.

Немного справа от ворот находилась как бы выставленная напоказ кузница, над которой теперь вился белесовато-серый дымок; от неё разносилась бодрая звонкая мелодия перестука по наковальне: то сообща спешили придать нужную форму только что раскалённому куску металла мастер-кузнец и его помощник, один легко обозначавший место проковки подзвонным молоточком, а другой тут же сноровo ухавший в указанную точку тяжёлым, будто успевавшим подремать и заново каждый раз просыпавшимся молотом.

Ещё правее, но подалее, стояла примыкавшая к роще церковь; над деревьями возвышался её небольшой приплюснутый купол, неярко блестевший застарелой, обносившейся позолотой.

Картину обжитой ближней местности довершали контуры водяной мельницы у отдалённого края леса, казавшемся совершенно нетронутым. В лучах солнечного света быстро истаивали последние клочки утреннего тумана, ещё провисавшие над речкой и над низинными местами вблизи её.

При выходе из ворот Маруся повела барина налево, где пролегала избитая пыльная хозяйственная дорога и близко к ней подступали приземистые избы, тёмные от времени, под кровлями из сена или соломы, многие сильно покосившиеся и осевшие. Между избами тянулись и уходили куда-то внутрь и вдаль узкие грязные проулки. Всё указывало на то, что это была наиболее старая часть поселения. Там в этот час не показывалось ни единой человеческой души, только в разных концах лениво перелаивались собаки, кудахтали снесшиеся куры и во всё горло надсадно орали петухи.

Почти сразу речка уходила отсюда на сторону, обозначаясь по берегам почти сплошными линиями изгибов склонённых над руслом шапок верб и невысоких ив. Поляны всё расступались, умножаясь, похожие друг на друга приветливостью и уютом.

Ярко светило уже разогретое солнце. Чувствовалось, что ещё недавно тут надолго задерживалась погода без дождей, но теперь эта вёдренная полоса позади, о чём говорила слегка освежевшая растительность. Влаги для неё недоставало, но в ней для позднеуборочной поры и особой необходимости не было, даже наоборот, просушливые дни становились весьма на

руку крестьянам, с некоторым опозданием задававшим сейчас размах календарным работам на зерновых полях.

Алексу было легко представить, что, как и в хорошо знаемых им, не таких уж дальних отсюда местах, дождевые осадки здесь в такое время большею частью кратковременны и легки, порой даже не успевающие приплотнить дорожную пыль, или же, если приходит ненастье, то оно проявляется, как правило, в виде шумливой местечковой грозы, тоже кратковременной или даже мимолётной.

Проливные и тем более обложные и затяжные дожди случаются, но уже гораздо позже – в разделе между окончательным исходом лета и наступлением сумрачной, всё усыпляющей осени, с её холодами по ночам и непрекращаемой даже при ветре сыростью на протяжении нескольких суток, а то и недель. Только изредка в такую пору выдаются дни ясные и тёплые, по-настоящему летние, как бы для того, чтобы всему вокруг отчётливее помнилась летняя здешняя благодать, и одним из них был как раз день текущий, на который приходилась вот эта, спонтанно задуманная прогулка.

Мысленно коснувшись местных погодных особенностей, Алекс ощутил резко подступавшее недовольство собой. Перемены такого рода всегда становились у него началом обычной, неостановимой внутренней работы, душевного действия, устремляемого в одно-единственное – в творчество, к чему он уже успел приобщиться и в нынешнее утро, тем самым пересиливая одолевавшую и беспокоившую его хандру. Теперь это состояние отвлечённой раздумчивости казалось ему неуместным. Но не из-за того, что им заслонялось живое и открытое присутствие юной и привлекательной провожатой.

Алексу представилось довольно странным, почему он как бы напрочь забыл о вчерашнем дне, времени его нахождения в поездке, по дороге сюда, в эту усадьбу. Путешествие ведь было не из приятных. Только от главного, губернского тракта оно растянулось от рассвета до наступавших вечерних сумерек, хотя на эту часть дороги могло хватить не больше пяти-шести часов.

Неприятности начались почти сразу же, при свороте на нужный просёлок, и они преследовали его в продолжение почти всего отрезка пути к усадьбе; естественно, это не могло не сказываться на настроении.

То понадобилось поменять одну из лошадей, у которой истрескивались копытные роговища и на одной из ног, после того как лошадь оступилась, пройдясь по глубокой каменистой дорожной выбоине, эта уязвимая часть её уже начинала кровавиться, и животное захромало; оно было выпряжено, однако в примыкавших к дороге полузаброшенных поселениях замены подобрать не представилось возможным, и добираться надо было в неполной упряжке до станции на почтовом тракте, пролегавшем, кстати, впрямую к Лепкам, и пока что невдалеке от просёлка, по которому кибитке следовало ехать по назначению, а удачей при этом было хотя бы то, что времени на сворот с выбранного основного пути ушло не так чтобы много; потом ослабла рессора, так что потребовалось остановиться для её починки в каком-то хуторе с самой примитивной запущенной кузницей и полунемым, ленивым, злым и притворявшимся ничего не смыслящим кузнецом, кажется, единственным на весь тамошний околоток; ещё одна остановка и опять у кузницы, уже в другом месте, была связана также с устранением неполадки в ходовой части фуры, а именно – с проковкой разошедшегося колёсного обода; очередной большой помехой стал неожиданный ураганный ветер, вместе с которым с неба выронился такой плотный ливень, что он сразу превратил дорогу в топкую склизь.

Особенно утомляющими и неприятными были минуты, когда падающая холодная водяная стена застилала глаза и вознице, укутанному в накидку, из-за чего фигура его, в дымке от крошева падавших на неё струй, представлялась обеспредмеченной, безликой и какой-то устрашающей, и лошадям, само собой, и едущему пассажиру со слугой, пытавшимся хоть что-нибудь рассмотреть сквозь тусклое, заливаемое дождевою влагой оконце. А ливень всё не переставал; не убавляясь, он быстро проникал вовнутрь сквозь войлок фуры, по её бокам и задней

части, сначала в каплях, а вскоре обозначаясь в этих местах уже крупными, быстро набухавшими сырыми пятнами; сюда снаружи потоки шумно устремлялись с покрытого кожею верха, словно в него ввинчиваясь, стуча по нему и как-то по-бесовски крутясь на нём и разлетаясь целыми тяжёлыми выплесками, опадавшими книзу, и в этом-то хаосе нужно было то и дело или останавливаться, или ехать очень медленно, преодолевая расстояние почти наощупь.

И ещё одна задержка, при том самом дожде: у захудалого селища, у его крайней избы, подступавшей прямо к тесной дороге с залитыми водой выбоинами и колеями, кибиткой зацепило тяжеленную полузаваленную на проезжую часть плетёную изгородь, и ею был подёрнут и смещён облучок, вследствие чего на торчавшие в разные стороны иссохшие, но теперь уже намокшие и скользкие ветловые прутья, а через них – в топкую огородную грязь неловко слетел возница, и у него на руках и на груди образовались кровавые содранности и произошёл сильный ушиб ключицы…

За какую-то версту от этого злополучного места истерзанная сыростью дорога неожиданно осталась наконец позади: запряжка въезжала на сухую, не затронутую дождём территорию.

Находясь уже вблизи Нееевского, Алекс, испытавший до этого естественные приступы путевого раздражения, чувствовал себя почти успокоенным и даже удовольствовался этим своим состоянием.

Всё вместе взятое, то, что оставалось уже осуществлённой частью путешествия, вскоре оказалось решительно отодвинутым далеко на сторону встречей с Мэртом. Сейчас впечатления от встречи и от расставания с ним, как и часы назад, всё так же прочно и успокоительно удерживались в Алексовой натуре, наполняя её светом необъятного золотистого умиротворения и счастья, так что в момент забылось и набежавшее как бы случайное недовольство собой, сцепленное с передрягами предыдущего дня. На душе становилось приятно, легко, свежо, теплотно; она была способна искриться и таять в радости и внутреннем тихом увеселении.

Забывались и те движения непонятной тревожности и подавленности, какие хоть и с усилием и не полностью, но были смяты новыми удачными строчками стихов, а вслед за ними – началом этой простой и успокоительной прогулки. Загадочное потемнение в чувственности отодвигалось за края сознания.

Алекс прислушивался к застенчивому, сбивчивому говорку спутницы, любовался ею.

На ней была слегка приталенная, серая с рябинками, лёгкая жилетка с отложным воротничком, одетая навыпуск, имевшая незначительный, но эффектный вырез у подбородка, и длинная просторная юбка, однотонная, цветом темнее, в складках, доходившая почти до земли. На отворотах, рукавах и по низу жилетки жгутиками тянулись голубоватые и бледно-розовые нашивы, контрастно выделявшие мягкую домашнюю цветовую гамму верхнего одеяния. Упругие полные груди медленно и уже почти по-женски томно покачивались при ходьбе или при глубоком вздохе, подчёркивая безупречную форму бюста провожатой. Спину украшала толстая увесистая каштановая коса, которая также была в движении, медленно-приятно мотаясь из стороны в сторону, что побуждало обращать внимание одновременно и на мощный таз, ещё без выраженной женской мускулистости и убывающей упругости, а совсем девичий. Ступни ног, одетые в мягкую низкую обувку из тонкой желтоватой байки домашнего изготовления, видны не были.

Обувка не казалась ни новой, ни заношенной. Наверняка она использовалась только для редких выходов, так как обычно, за исключением зимнего времени, дворовым девкам, как и всем крепостным, полагалось управляться по хозяйству и на гуляньях если не в лаптях, то босиком. Ступни оттого не могли, конечно, выглядеть лучшим образом, как и сопричастные с разной тяжёлой работой кисти и запястья рук. Они выдавали крепостную сполна.

Маруся всеми силами старалась это укрыть и потому краснела.

Руки она держала опущенными, придерживая ими юбку и пряча их между её складками. Иногда спутница приседала, чтобы сорвать или только потрогать стебелёк травы или цветок. В этой позе, когда ей приходилось неспешно и слегка игриво раскладывать оборки вокруг себя, она выглядела немного аристократичной. Утончённость манер не была, однако, естественной, а только приобретённой, не иначе как через господские наставления, и, наряду с приседаниями девушка нагибалась в поясе, как это в привычке у работниц. Длинная юбка тогда приподнималась от пят, слегка обнажая розоватые упругие щиколотки. Молодое приманчивое лицо пылало негой и ожиданием. Были прекрасны густые пахучие волосы; на открытых местах нежной загорелой кожи в мелких капиллярах билась возбуждаемая молодостью неутолённая страсть.

На расспросы Алекса Маруся рассказывала о хозяйке, урожае, живности, старом барине, который давно умер и которого она едва помнила.

Она знала много сказок и пробовала коротко пересказать отдельные части некоторых из них. Алексу тут было лестно услышать пару выдержек из своих произведений этого жанра. Она знала, кто он и что он поэт и даже позволила себе похвалить его, сделав это, к его удивлению, без лишней чувственности, не выражая пошлых стандартных благодарений и восторженной признательности, как то обычно бывало при общениях в дворянской среде, а совершенно просто и не так чтобы глубоко, но в достаточной основательности, сказав, что ничего не читала из его вещей в книжках, а всего лишь запомнила, когда услышала от приезжавшей в селение родственницы барыни.

У неё был суженый, Аким; к подступавшей предзимней поре следовало быть их свадьбе, но он чем-то не угодил помещице, и теперь отдан в рекруты на долгие годы. Как взяли ещё весной, так ни одной вести. Вероятно, девушка помнила о нём постоянно в любых обстоятельствах, и её могли донимать острые приступы воспоминаний о нём и сожалений о том, как беспощадно обошлась с нею злодейка судьба. Ввиду этого Маруся то и дело грустнела, из-под её ресниц показывались обидчивые, скорбные слезинки. Впрочем, она быстро укорачивала горестные личные терзания, снова становясь общительной и открытой. Рассмеявшись, она бросилась бегом к видневшейся впереди обветшалой крытой сверху тёсом беседке.

Тут был берег.

Тихое движение глубокой воды, испещрённой бликами от лучей солнечного света, не очень способствовало продолжению беседы. Оба на некоторое время смолкли. Сидя на скамейке, Маруся болтала ногами.

Алекс подумал, что хотел бы обнять её и что она, пожалуй, не противилась бы, дала целовать себя. Он знал, что у деревенских крепостных девиц под одеждой ничего исподнего не полагалось, а на ягодицах могли быть бледно-розовые уродливые полосы от розог, которые долго, а иногда и вовсе не затягиваются. Ему с трудом удалось подавить непроизвольно возникшее вожделение, и чтобы не дожидаться новой его волны, охваченный осознаваемым стыдом, он, стараясь не показывать своей поспешности, поднялся и пошёл вдоль берега дальше.

Маруся догнала его.

– Хотела у вас узнать… – робко обратилась она.

– Что?

– Сказывают, с молодым барином вы в большой дружбе?

– Верно. И уже давно. А тебе он хорошо знаком? Ведь он в усадьбе, как мне известно, жил недолго. С малых лет всё в городе.

– Всем здешним он запомнился с ребячьей поры. Был весёлым, даже озорным, не брезговал знаться с крепостными. А теперь стал совсем другим, настойчивым… Что не по нём, бранится и на руку бывает горяч. Не преминет учинить спрос… Вчера вот…

– Это, полагаю, от возраста. Мы все, когда взрослеем, уже не остаёмся прежними…

Он стал расспрашивать Марусю о местности. Девушка пояснила, что заблудиться тут невозможно. Речка ведёт к просёлочной дороге и к мосту – она указала на него, когда они ещё

издали подходили к нему. Если пройти по той дороге налево и не сворачивать, будет перекрёсток, за ним ещё один, от каждого, опять же налево тянутся дороги в сторону деревни. Одна от другой не очень далеко. Между ними лес, а на его краю, ближе к барской усадьбе, церковь и кладбище. А отсюда, если прямо и направо, за речкой, луга да поля. Кое-где лес или колки. С бревенчатого моста, не имевшего перил, Маруся бросала в воду сухие затверделые комочки земли, сбитые повозками, подковами лошадей или тягловыми волами. Она начинала скучать.

– Спасибо тебе, – сказал Алекс. – Я останусь, а ты ступай. Барыню предупреди, пусть не беспокоится за меня.

Девушка удалялась быстрыми шагами, почти бежала, наклонив голову. Алекс догадывался: она плачет, в чём, возможно, из-за боязни огласки с его стороны или укоров, а то и побоев от Екатерины Львовны считала за лучшее перед ним, барином, сдерживаться; теперь же, оставив его, она даёт волю огорчению от своей бедовой участи одиночки, видимо, ещё пока умевшей надеяться: всё-таки её Аким сможет каким-то образом вернуться, и неясное ожидание чуда хоть и утишало, но одновременно и обостряло девичью тоску.

Пыльная дорога, резко взрытая ободьями колёс и копытами, с давно иссохшими или только ещё подсыхавшими кругляшами и ошмётками лошадиного и воловьего помёта, уже неподалёку от моста пересекалась той, что тянулась от ворот усадьбы. Было видно, что последние, кто проезжал просёлком, проносились по ней едва ли не ускоренным галопом.

И впрямь, здесь нельзя было не воспользоваться возможностью для этого. Насколько хватало глаз, путь пролегал по месту совершенно ровному и открытому. На таком прогоне медлить никто не захочет. Другое дело – дорога хозяйственная.

Она как-то очень спокойно, почти под прямым углом будто с ленцой уходила от деревни и перекрёстка, теряясь в небольших оврагах, за которыми в лёгкой дымке нараставшего светового тепла обнажались убранные хлебные нивы, занимавшие обширный, слегка пологий массив.

Там после росных часов шла уборка снопов. Копны их правильными рядами тянулись понакрест обширного поля. Большая его часть уже была свободной. А у самого его края вырастала скирда, рядом с которой, пользуясь тем, что сухо и солнечно, несколько работников уже вскидывали цепы, вымолачивая зерно с доставляемых возами отдельных партий снопов. Там для этого была расчищена и разровнена площадка.

Быстрые взмахи цепами выдавали спешку работавших: им надо было управиться хотя бы с небольшой частью подвоза, нагружаемого с копен на убираемом массиве.

Росла и скирда; наверху её и снизу суетились её взмётчики. В том облоге всё воспринималось уменьшенным из-за расстояния. Лишь два не успевших осесть и потому сильно взъерошенных воза со впряжёнными в них лошадьми и фигурами возничих поверх на каждом, следивших, чтобы снопы «не расползались» и оставались плотно стянутыми верхними балками и верёвками, соединявшими их спереди и сзади с остовами телег, – эти два нагруженных воза еле заметно двигались в сторону просёлка по направлению к имению и были уже далеко от поля и видимы почти в натуральную величину. Снопы на них следовало доставить на гумно, где с обмолотом можно было пока не спешить.

На прогоне и рядом Алексу не было видно никого. Только отчаянно жужжали оводы и мухи, раззадоренные обильным, но редким для такой поры теплом, да, освежаясь в лёгких воздушных потоках, взмывали на высоту и там затевали какие-то неспешные замысловатые свалы или кружения редкие некрупные птицы. В синеве небесного купола, где то здесь то там провисали нестрогие серовато-белые облака, это мельтешенье птиц воспринималось неким подобием процесса подрисовки, когда раздумывая над создаваемым образом, живописец кистью торопливо наносит на полотно мазки, стремясь не упустить что-нибудь очень, на его взгляд, существенное, но так ещё и не находя искомого.

Алекс радовался одиночеству. Нельзя было различить дул ли хоть слабый ветерок и если дул, то куда и откуда. Это правила торжество пора благословенной тихости и покоя, когда всё окружающее и погружённые в него чувства будто замирают во взаимном наслаждении и в умиротворённости.

Ощущение того, что должно последовать, куда-то уплывало; будущего вроде как просто не ожидалось. В стороне от слоя перетолчённой пыли, устилавшей дорогу, место выглядело хотя и немного заезженным, но убережённым, выхоленным, чистым; здесь по ковру из низкорослой плотной травы, сплошь застилавшей давние следы от редких повозок, с ещё не обозначившейся колеёй, идти было легко. По обеим сторонам тракта тянулись заново озеленевшие после выкосов травы и стога на них. Пахло душистым свежим сеном.

Временами он швырял железную биту, удовлетворяясь чувствованием здоровой мускульной силы. Было хорошо думать о том, что вот сейчас думать если и надо, то вроде как не обязательно или если и думать, то – ни о чём и что всё равно такое состояние отрешённости не окажется бесполезным напрочь: возможно, уже вскоре оно обернётся то ли какой-нибудь неожиданной свежей мыслью, то ли даже яркой рифмой или строфой, а то и целым стихотворением. В том, что будет именно так, он был уверен твёрдо, и осознавать это было ему весьма по душе и кстати – не только в виду текущего ласкового момента, но и той части прогулки, которая уже оставалась позади и вмещалась в отдельную яркую картину, вобравшую в себя неотчётливую смущённость от общения с бедной Марусей. Зарождалось желание находиться в состоянии убаюкивающей мягкой и какой-то почти прозрачной задумчивости возможно дольше.

Впереди между тем уже угадывался перекрёсток с отводом от него в сторону усадьбы. Как и поясняла Маруся, дальше располагался ещё один. Ходьба от моста заняла, по всей видимости, более часа. Алекса вполне устраивало то, что по дороге за всё это время так никто и не проехал, ни попутно, ни встречно ему. Он немного устал, и хотя нужно было возвращаться, не спешил.

У съездов с тракта пустырный пейзаж с терявшимися далеко позади лоскутьями нив и лугов резко менялся. Почти вплотную примыкали массивы высокого густого леса. Оттуда исходила приятная боровая прохлада, смешанная с некоторой утробной таинственностью. Не на том ли вон могучем древнем узловатом дубище, стоящем у самой дороги и растолкавшем кроною ближайшие к нему берёзы и ели, мог обретаться на изящной золотой цепи говоривший сказки и певший учёный мурка?

Любопытствуя, Алекс прошёлся по просёлку несколько дальше второго съезда, что было уже как бы лишним. Но едва он повернул назад, как его осенило смутное и очень странное соображение.

Пыль на участке между съездами выглядела не такой взбитой как на других, примыкавших к нему полосах главной дороги. На этом вот, втором, то есть более отдалённом от поселения, повороте явно обозначалось торопливое гуртовое передвижение.

Следы от подков указывали, что передние ездоки, спешившие к съезду и, видимо, остановленные по команде, проскочили его и были вынуждены резко осадить лошадей, хаотично устремляясь отсюда к усадьбе вместе с остальными. Копытные следы пестрели наряду с полосами от ободьев, частью их покрывая. Это могло говорить о верховом сопровождении фур не только спереди, но также и – арьергардом.

У первого съезда картина повторялась. Выехав со стороны усадьбы, отряд частью перескочил перекрёсток, сумбурно истоптав и его, и его закраину. Дальше следы уходили по главной дороге в направлении моста, откуда Алекс проделал путь, будучи расслаблен в чувствах и не особо внимателен к окружавшим приметам.

В целом картина указывала на весьма редкое движение по просёлку; со вчерашнего дня это были единственные хорошо заметные свидетельства, если не считать оставленных фурою, в которой добирался до усадьбы сам поэт; но те оставались в преддверии поворота к деревне уже

основательно скрытыми, и ему хорошо помнилось, что, приближаясь сюда, он видел дорогу, уходящую к теперь уже знакомому мосту хотя и в полосах от ободьев и в ямках от конских и воловьих копыт, но основательно припорошенную пылью, – сюда, очевидно, прорывался ветер, нагнавший дождя, который пролился на оставшемся позади отрезке пути. На то, что на этом участке могло тогда быть дополнительное по времени движение повозок или лошадей, ничто не указывало. И до сих пор его вид оставался таким же, припорошенным пылью, каким помнился с вечера накануне.

Возбуждённый увиденным и каким-то, будто уже уяснённым тяжёлым подозрением, он почти бегом опять направился ко второму съезду и от него так же спешно – по следам, ведущим к усадьбе. Показался купол церкви. Примерно за треть версты от храма открылась обширная пустая поляна. Сомкнутая краем с дорогой, она представлялась неуютной, изрытой подковами, в остатках изобильного и безалаберного ночного постоя, с размётанными кучками ещё не подсохшего конского помёта, золой от костров и отброшенными в стороны обступавшего леса деревянными лавками. Довершали картину несколько валявшихся то тут то там пустых или разбитых бутылей из-под вин, обрывки тесьмы, бумаги, модный носовой платок…

Накануне Алекс проезжал здесь ещё не до конца стемневшим вечером. Поляна выглядела совсем другой. Тогда к ней спешила крепостная молодёжь. Это место отводилось ей для забав и общих встреч. Было видно, что оно содержалось довольно ухоженным, и присматривать за этим наверняка поручалось кому-либо из лиц, облечённых барским доверием.

Под ногами юных рабов земля здесь была во многих местах уплотнённой до гладкости, но ровной, по сторонам же от таких участков из неё выбивалась густая низкая травка, что позволяло собирающимся чувствовать себя в неком подобии уюта под открытым небом даже в сырую погоду. В те времена такие летние площадки для развлечений существовали уже в каждом русском селении. Отводить их для подневольной молодёжи дворянам было и ненакладно, и полезно.

Неожиданно показался Никита. Алексу он сообщил, что оставался без дела и просто идёт навстречу, не надо ли чего. Да и к возвращению давно уже пора бы, всё ли, подумалось ему, благополучно. А почему в эту сторону – на то указала Маруся. Он видел её и узнал от неё: барин должен пройти сюда повкруг, всё время держась левее. Заметив, что Алекс, не прерываясь, разглядывает место, слуга принялся подробно и по своему обыкновению как бы равнодушно пояснять, что здесь и к чему. Он, оказывалось, многое знал.

– Барин-то приезжали не одни, вот с ними… – он повёл рукою, обозначая всю поляну. – И с ними же отъехали. Тут следы…

Между деревьями в сторону параллельной дороги можно было разглядеть проём, достаточный для проезда повозок и верховых, но, судя по всему, ставший хозяйству ненужным.

Над проёмом густо нависали ветви деревьев, почти сплошь закрывая его верх. У начала этой своеобразной лесной дыры земля была истолчена копытами лошадей и ободьями колёс.

Оба прошли вглубь. Подлесок только начинал здесь осваиваться; кое-где он едва перерастал буйствующую траву. Брошенная старая глубокая колея зеленилась от укрывавшего её плотного и мясистого мха. Здесь проезжавшие двигались, видимо, при самом начале рассвета, когда в лесном массиве было ещё почти темно и росно, поэтому и оставили они после себя хаотичные примятины на отсырелой земле, по мху и на траве; книзу в разных местах клонились надломленные и ободранные стебельки молоденьких сосёнок, осин и берёзок. Скоро дыра закончилась, и без труда можно было определить: отсюда отряд поворачивал на просёлок, уже к другому выезду на него.

В Алексе вспыхнула и заклокотала ярость.

«Какие у него, к чёртовой матери, заграницы! – вознегодовал он в адрес Мэрта. – Обыкновенный ловец, а то и всего лишь наводчик. Полевая тайная жандармерия!»

Больно заныло в груди. Стало трудно дышать. Было стыдно перед Никитой, за себя, за всё. Котёл, возможно, никогда не был пустым!

Он отвернулся, не желая выглядеть задавленным и униженным и в то же время зная, что всё тут хорошо понятно и слуге. Тот стоял растерянный, жалкий, что-то сочувственно бормоча, не находя возможным как-то иначе вмешаться, чтобы разрушить всё более утомляющую барина атмосферу чёрной подавленности. Несколько раз Никиту передёргивало от коротких приступов кашля, он сморкался, обнаруживая простуду, что по отношению к назначенной на завтра совместной с ним поездке было явно некстати.

– Поди себе, – сказал ему Алекс, тяжёлым усилием удерживая полыхавшее своё нутро и какие-то неясные предчувствия. – Я скоро. Да возьми вот, – тихо и медленно проговорил он упавшим голосом, передавая железный предмет, становившийся больше ненужным.

День потянулся для него нескончаемой цепью узнавания о самых прозаичных, но, разумеется, далеко не мелких для обитателей поместья событиях, так или иначе восполнявших скрытое в оставленных отрядом подорожных следах.

Одно за другим они буквально обнажались на пути, где бы ни оказывался ошеломлённый их обнаружением здешний гость; они прямо-таки вонзались в его вздёрнутое сознание, лезли ему на глаза. Ещё на подходе к усадьбе, куда он направлялся вскоре после того, как отослал туда Никиту, произошла буквально потрясшая его встреча с Евтихием, местным старостой.

Это был человек лет сорока пяти, ещё довольно моложавый, рослый, подтянутый, с чертами невозмутимости в лице, говорившими о полном осознании им своей ответственнейшей роли в хозяйстве и об исключительно трезвом физическом образе его повседневной жизни. Тут явно была некая добровольная служебная жертвенность, как цена за предоставленную ему огромную власть над себе подобными. Она, эта власть, хотя и не давала выхода из рабства, но могла, по крайней мере, выражаться как что-нибудь необщее, индивидуальное, доступное в пределах имения только ему, из подневольных единственному.

Не вполне ясное осмысление своей значимости проявлялось в нём до избыточности ровным укоренившимся восприятием всего, куда только могла простираться его компетенция. То, конечно, могло быть прямым следствием жизни в условиях тяжёлой усадебной замкнутости, при которой становились почти нереальными соприкосновения с остальным, внешним миром и устранялись возможности сравнивать свою роль с ролями других, таких же, как он, надзирателей.

Наверное, была тут ещё и утеря чувства необходимой осторожности вопреки той особенности его каторжной миссии, когда не могли быть исключены ни господские нарекания по любому, даже пустячному поводу, ни укрытая забитой покорностью лютая к нему ненависть крепостных; но внешне этого теперь почти ничего в нём не обнаруживалось. Окаймлённое снизу бородой, загорелое до черноты и вспухшее лицо выглядело изуродованным. На нём бросались в глаза огромные затёкшие синевой свежие кровящиеся ссадины, одна занимавшая почти всю левую щёку и нос, а другая, располагавшаяся в верхней части лба и неумело прикрытая торчавшей из-под зимней шапки бугристой прядью свалявшихся густых и длинных серых волос.

Побои угадывались и в других местах заметно сжавшегося тела, особенно на спине, из-за чего старосте, чтобы унять боли, приходилось наклоняться от пояса вперёд несколько больше обычного, расставляя руки и ноги, однако он как бы и не считал нужным скрывать то, что с ним сотворили. Тем самым он, скорее всего, обозначал возможность по-своему круто наказать любого ему подвластного, кто осмелился бы в принижение доставшегося ему ранга хотя бы лишь усмешкой или как-то иначе дерзко намекнуть на воздаяние ему суровою мерой отвлечённой всеобщей справедливости, вбиравшей в себя, само собою, и подлинное житейское обоснование его беспощадного, хотя, вероятно, и не заслуженного истязания.

Направляясь к воротам усадьбы от злополучной молодёжной поляны, Алекс увидел его совсем близко идущим через лёгкий пешеходный мосток со стороны кузницы. Староста прервал шаг и поздоровался, сняв головной убор и по-холопски раскланявшись.

– Не будет ли приказаниев? – спросил он, слегка шепелявя, почти беззвучно, раскрываясь таким способом ещё и о болях во рту, на зубах.

– Благодарю, ничего не нужно. А – что это с тобой?

– Так, нечаянно…

– Кто же? Я умолчу, не таись.

– Не смею… Барыня строго-настрого…

– Умолчу. Даю слово. Можешь верить.

– Не сперечу; но вы уж… А то не обернулось бы хужее… Их сынок. Ещё ввечеру… По приезде…

– Сам?

– Сперва сами, а утомимшись, велели Василию.

– Кто это?

– У кузнеца помощником. Силища как у быка; на меня зол.

– Из-за чего?

– Отведывал моей руки… Торопился сватать… У меня… К моей… Дело привычное…

– Почему как раз – он?

– Против своей воли. Попался барину на глаза.

– И что же?

– Вернейший у нас приём – не розгами, так того пуще – плетью. Бывает вперемежку… Меня – прутьями, лозовыми…

– Позволь, но – за что?

– Не смею…

– Всё же.

– Позорно. Смиловайтесь…

– Умолчу. Клянусь…

– К их приезду гулявшие оставались на месте. Видемши отряд. За то избит вручную и сапогами… Хотя – не виновен. От сына было письмо, наверное с уведомлением; барыня же мне ничего не сказывали… Я не знал…

– А – розгами?

– Позорно, вашество…

– Требовал? Чего?

– Как и в прежних появленьях…

– Девку?

– Известное… Да в энтот-то раз не чужую… Мою дочку… Ну, – что и с Василием… Лишь подрастает…

– Взял?

– Виноват. В непослушании… Осержу…

– Не винись. Мне надобно знать.

– Не позволимши… Предпочтя экзекуцию…

– Но мстить Василию ты ведь не будешь? – Этот вопрос напрашивался хотя бы ввиду того, что избитый, вероятно, заходил в кузницу уже не только с обидой и злостью на подручного за доставшиеся розги, а при всех своих прежних правах и полномочиях, чтобы, например, справиться там у кузнеца о каком-нибудь заказе от хозяйства или дать работникам новое задание.

– Пошто о том? Он, как и я, принуждался… Барская воля… – Евтихий поднёс к груди находившуюся в руке шапку и сделал поклон, выражавший просьбу освободить его от дальнейших расспросов.

Тягостный диалог чем дальше, тем выходил утомительнее – уже для обоих.

Отпуская старосту, Алекс чувствовал, как негодование в нём будто затвердевало, слипалось и душило его, не позволяя вернуться хотя бы в то состояние едва только набегавшей неровности и неясной встревоженности, в котором он находился, приближаясь к поляне, где встретил Никиту. О том же, что позади осталась ещё и та часть прогулки, когда можно было предаваться неопределённой мечтательности и беззаботному верхоглядству, просто ничего уже не помнилось. Не говоря уж о времени, совместно проведённом наедине с Марусей, которое памятью следовало удерживать как особенное, хотя и затронутое искренним болезненным сочувствием к несчастной девушке, но всё же какое-то светящееся, зовущее к покойной радости, почти целиком закрывавшее непродолжительные попутные тогдашние мысли насчёт своей несуразной забывчивости о случившихся собственных дорожных неприятностях предыдущего дня.

С этим соседствовала и ещё некая всё более отяжелявшая и угнетавшая его мысль, которая касалась той части беседы с Марусей, когда он отвечал на её расспросы о молодом барине.

«Она не иначе как хотела сказать больше, чем успела, и, скорее, даже непременно то, что уже знала о неожиданном ночном визите Мэрта с отрядом…»

Что так и могло быть, в этом он уже не сомневался.

Войдя в усадебные ворота, Алекс неожиданно увидел на крыльце барского дома Марусю.

Она спускалась по ступенькам крыльца, и было вполне уместно заговорить с нею уже как бы в продолжение того, что осталось не выраженным ясно о сыне барыни во время их прогулки; но тут за девушкой сразу вышла на крыльцо Екатерина Львовна и, ещё пока не заметив гостя, что-то стала говорить ей резкое и требовательное, пресекая отлучку и заставляя немедля вернуться в дом. Сцена выглядела довольно угрюмой.

Алекс догадывался: барыня расспрашивала крепостную и наверняка выведала у той, что говорилось о её сыне, так что теперь следовало ни в коем случае не допустить ещё одного контакта Маруси с приезжим и на всякий случай удерживать её в доме, на половине, отведённой челяди…

Слов Екатерины Львовны хотя и нельзя было разобрать, но по их досадливому тону, а также и по тяжёлой озабоченности или даже испуганности на её лице совсем нетрудно было понять, что барыня слишком поздно осознавала свою промашку с устройством для гостя вольного выхода из жилой части усадьбы в сопровождении Маруси, – лучше бы ей было ограничиться отказом, основание которому она сама так подробно и живописно объяснила, поведав об очередной массовой порке подданных.

Предположения о причинах, угнетавших хозяйку, чуть позже подтверждались и рассказом Никиты.

Маруся считалась «ничьей» по рождению, то есть – подкидышем. Воспитывать её отдали прачке, разбитной молодке, оставшейся с тремя своими детьми вдовой после неожиданной смерти мужа, солдата, проведшего на военной службе около четверти века и вернувшегося домой старым и с ворохом недомоганий.

Отцом же девушки называли теперешнего старосту Евтихия, чего, впрочем, доказать никто не мог. Мнение, что родитель ей именно он, крепло с годами из-за того, что лучшей подружкой у Маруси оказалась настоящая дочка Евтихия, Настя, моложе Маруси почти на целых два года, но не по летам рослая и пригожая, и Евтихий всегда мирволил обеим, не возражал и не сердился, когда кто-нибудь называл их сёстрами…

Как раз Настя и стала предметом похотливого желания Мэрта, и уж об этом-то Маруся просто не могла не знать. Как не могла не знать и обо всех других сумбурных последствиях, увенчавших очередное посещение барским сынком родовой усадьбы.

Никита имел возможность многое услышать и от мужского состава челяди, и от женского. В том числе и от Маруси с Настей. А частью и от самой госпожи, по натуре неисправимой болтушки.

Хотя слуга умел быть замкнутым, но он хорошо знал своего барина, чтобы притворяться неосведомлённым и не докладывать ему обо всём, что могло интересовать его. Алексу не стоило большого труда как бы нечаянным вопросом заставить его разговориться. Ответы он всегда слышал короткие, но правдивые и обстоятельные. Теперь, однако, выспрашивать многое ему просто не было нужно и не хотелось. И того хватало, в чём пришлось удостовериться самому.

Мысли болезненно выстраивались в одном: что за дурацкий изворот, утаскивал его, Алекса, прямиком в сумрак задавленного состояния жизни низшего сословия? Что это? Не знак ли здесь того, что ему, поэту, пока ещё вовсе не старому, но уже слишком часто говорившему и писавшему о своём старении, так и не удавалось отрешиться от былого, от мечтаний, от светлых и пустых надежд? Своей ли была и удерживалась в нём эйфория беззаботной молодости, стихотворная насмешливость над его судьбой и её изгибами? Над тем, куда он с большой собственной охотой позволил влезть оборотню Мэрту?

Мало тебе других неприятностей, так получай их ещё и от этого поганишки.

Ну да, как же теперь воспринимать и называть этого подлого человека?

Дружба с ним казалась надругательством, издёвкой. Она была уже сплошной грязью, фоном, где не могло находиться ничего осветлённого и понятного. Зрела растерянность; что-то в душе увеличивалось обвальное, опустошающее, обессмысленное.

Зачем он здесь? И куда едет? Что нужно ему в этой поездке? Только деньги, заём?

И чем она может закончиться?

Наступал поздний вечерний час. Алекс объявил барыне, что едет рано утром. Так же рано, как то было с отъездом Мэрта. Знал, что уже будет не до сна, даже не вполне полагал, поедет ли дальше или вернётся вспять, домой, к себе…

Раздвоенность такого рода будто кем-нибудь придумывается нарочно, чтобы запутывать уже и без того запутанное и разлаженное.

Проснувшись намного позже намеченного, хотя всё же и затемно, Алекс вынужден был признать, что его вечерние предчувствия начинают сбываться, и неблагоприятные, скомканные обстоятельства теперь, возможно, опять будут пригибать его.

Никита не разбудил его, и, значит, он серьёзно болен. Брать Никиту с собой рискованно. Слуга ещё с позавчерашнего вечера говорил ему о болях у себя в груди, об испарине и общем недомогании.

В поведении подневольного могла крыться некоторая хитроватость. Никита умел наперёд угадывать состояние барина исходя из тех ситуаций, когда, как и на этот раз, всё было ему хорошо понятно по происходившему. Барину лучше не ехать, отдохнуть, снять напряжение, а то и повернуть назад. Иногда такая уловка удавалась, что со стороны Алекса не вызывало никаких укоров или нареканий. Но теперь слуга в самом деле выглядел больным. Хворей он заполучил ещё до этой поездки, искупавшись в холодной протоке; сейчас они продолжали его преследовать и могли выражаться ещё заметнее ввиду его соучастия вместе с возницей в той избыточной дорожной суете, которая становилась неизбежной при необходимости подталкивать кибитку на выбоинах во время позавчерашнего ливня и – особенно при вызволении кучера с места, куда тот слетел с облучка.

На состоянии здоровья слуги, наверное, не могли не сказываться и такие вот запутанные нервные условия временного пребывания в чужом гнезде.

Возникавшие препятствия не могли, однако, повлиять на решимость поэта продолжать путешествие. Нет, если уж не ехать, то лучше – слуге. Даже несмотря на то, что и с возницей, если учитывать его позавчерашние ушибы, дело обстояло не совсем ладно. Он, господин,

отправится в путь вопреки всему. Нельзя позволять подавленности всё разлаживать до основания.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.